

АНТОЛОГИЯ ЖИВОЙ

АЖЛ

ЛИТЕРАТУРЫ



ГОЛОСА В ЛАБИРИНТЕ



СКИФИЯ

Анна Кшишевска Иванова
Ирина Янкова
Серафима Богомолова
Марина Бахтамаева
Галина Шляхова
Павел Черкашин
Мargarита Озерова
Сергей Грызлов
Владимир Семиряга
Черный Водолей

Игорь Чернавин
Амид Ларби
Евгений Скрипкин
Виктор Мудролюбов
Игорь Трофимов
Артем Домченко
Сергей Ерёменко
Елена Карелина
Ксения Бурдакова
Артхарлан

Антология Живой Литературы (АЖЛ)

АНТОЛОГИЯ
Голоса в лабиринте

Издательско-Торговый Дом "СКИФИЯ"

2019

УДК 84 (2Рос=Рус) 6
ББК 82.32

Антология

Голоса в лабиринте / Антология — Издательско-Торговый Дом
"СКИФИЯ", 2019 — (Антология Живой Литературы (АЖЛ))

ISBN 978-5-00025-164-5

События, люди, явления – существуют, пока мы их помним. Но, если «материя – есть объективная реальность...», то память – реальность субъективная, глубоко индивидуальная, часто придуманная, хотя, может быть, гораздо более важная. «Антология Живой Литературы» (АЖЛ) – книжная серия издательства «Скифия», призванная популяризировать современную поэзию и прозу. В серии публикуются как известные, так и начинающие русскоязычные авторы со всего мира. Публикация происходит на конкурсной основе.

УДК 84 (2Рос=Рус) 6
ББК 82.32

ISBN 978-5-00025-164-5

© Антология, 2019
© Издательско-Торговый Дом
"СКИФИЯ", 2019

Содержание

Между снов и ветров	6
Игорь Чернавин	6
1. К богу и наискосок	7
2. Матрешки	9
3. Их город	10
4. В калейдоскопе	15
5. Юрский период сознания	18
6. Корпоративы	19
7. Река и кошка	24
Амид Ларби	27
Евгений Скрипин	34
Не раб	34
Холодней, чем лед	38
Вечный цейтнот	42
Виктор Мудролюбов	52
Игорь Трофимов	63
Конец ознакомительного фрагмента.	65



Голоса в лабиринте (Ред.-сост. Нарси Ади-Карана)

© Оформление, составление. ИТД «Скифия», 2019

© Чернавин И., 2019

© Ларби А., 2019

© Скрипин Е., 2019

© Мудролюбов В., 2019

© Трофимов И., 2019

© Домченко А., 2019

© Ерёменко С., 2019

© Карелина Е., 2019

© Бурдакова К., 2019

© Харлан Ю., 2019

© Кшишевска Иванова А., 2019

© Янкова И., 2019

© Богомолова С., 2019

© Бахтамаева М., 2019

© Г. Шляхова, 2019

© Черкашин П., 2019

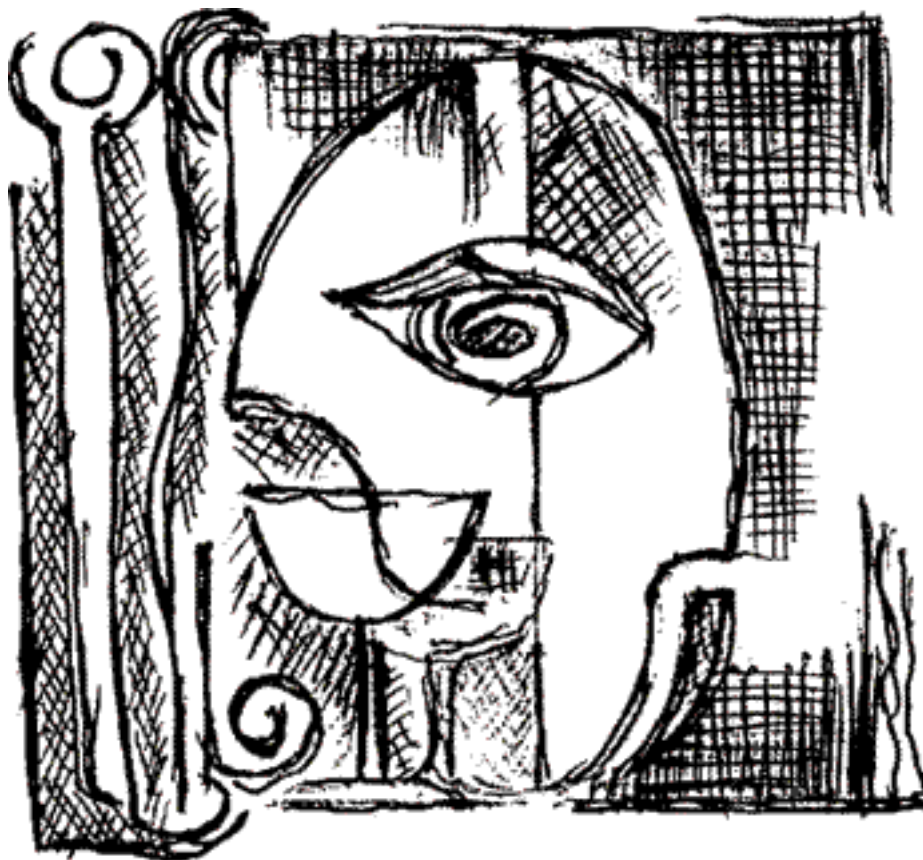
© Озерова О., 2019

© Грызлов С., 2019

© Семиряга В., 2019

© Старостин В., 2019

Между снов и ветров



Игорь Чернавин

г. Санкт-Петербург



Из интервью с автором:

1975–1982: студент физфака ЛГУ с глубоким погружением в литературу (особенно США). Писать начал в 1976 г. С 1982 геофизик, кастанедовец и андеграунд. Цель этого цикла – через проживание текста читателем предъявить ему возможность альтернативного взгляда на повседневность и её реальность, как вариант части «пути внутри себя».

1. К богу и наискосок

Весна, глухая стена желтоватого дома напротив. Дом – как бельмо на глазу, но в нем при этом живут. Комната – эти обои ее, два накривь-вкось косяка, еще картина про стену в окне и два ствола от деревьев. Клочок от неба над крышей соседнего дома – как без конца оно светится серым. И не понять, куда смотрит. В нем есть и перетекания, больше и меньше, по самой мягкости их понимаешь – все и само расплзется.

Сон за пределом реального. Просто сказать – так не хочется жить, но организм-то пока существует, и есть сознание о прошлом, и недоумение – это сознание о настоящем. Есть часть сознания о том, что должно было б быть не в этом сером объеме, но – ускользает все время. Пространство вокруг свернулось, я как-то сам это сделал – я не включен ни во что дальше взмаха. «Глобус» сторел, нет ролей для актеров. Я – есть, и был – что я-есть, и есть – что буду.

По углам над перекрестком, как над объемной открыткой, как будто нависли тени. «Курская улица по городу идет, Курская улица на запад нас ведет...» – в страну По-пиву,

в страну совсем небольшую, где в ряд четыре ларечка. Там, правда, рядом всегда «марсианские хроники», что допились до хронической стадии бога войны, но я смогу их «не видеть». Банка холодная и день прохладный, хоть по-апрельски и светлый, стыло, но лень застегнуться. Плащ на мне, будто на вешалке, стыдно, но ничего не поделать. Книжный магазинчик – в окне обложка альбома с лицами очень серьезных блондинок, а под ними крупными буквами «Овощи». Мизантропия хихичет, многое хочет добавить. Мысленно ей отвечаю – «В них есть хорошее, что не находит дороги». В другом окне неприятный плакат, на нем Эйнштейн показал свой язык – что-то я, правда, не понял, с чем-то хотел бы поспорить.

Я вышел из магазина продуктов и смотрю под ноги, разницу я замечаю не сразу – вместо потока машин по Лиговке мимо идет Крестный ход. Странность дала зренью линзу. Вот первый ряд, человек на пятнадцать, поравнялся со мной – и все попы в позолоте до пяток, и все несут – будто флаги, хоругви. Но это ладно, я вдруг замечаю поверху, что лес совсем не редееет – молча, идет их ударная сила – может, рядов двадцать пять – с бородами. Каждые метров пятнадцать спиной к тротуару стоит по менту. Позолоченные чувствуют мое вниманье, и я встречаю их взгляды. Через совсем небольшой интервал от попов идут толпой христиане – тоже у многих иконы. И, вообще, само тело колонны, теперь прихожан, уже существенно мрачно, сами их взгляды недобры. Вот кто-то жутко хромает, вот даже катят коляски с блажными. Эти вокруг мало смотрят. Этот поток, так и есть, подлиннее – я вижу спину моста над Обводным, там все вползает, колышется масса – идет от блеклого неба. А золоченые ушли уже за квартал, я вспоминаю их лица – интеллигентные вроде бы люди. Куда они все пошли – ведь через пару кварталов заводы – там и гулять некайфово, а до Московского все ноги стопчут. Они идут за «эффектом плацебо». Но, наконец, их ряды поредели. Хоть кто-то верит не в деньги, Корыстный ход, он страшнее, чем Крестный.

Я ухожу во дворы, здесь спокойно – нету ни ветра, ни шума – солнце рассеяло все-таки дымку, после зимы первый раз обогрело. И я вхожу, ухожу в это теплое поле. Воробьи дико галдят надо мной, а вот – пытаются и размножаться. Гляжу на них, как котяра. Может быть, это назвал бы я богом – когда вокруг все благое. Мысленно я провожу эти линии – от моей комнаты до этой точки, я шел навстречу толпе, развернулся, но, все же, важное мне направление иное – наискось, к этому тоже.

На детской площадке в опрае кустов я присел на скамью – а где еще посидеть, есть сквер для взрослых, но он вплотную к проспекту – там сплошной гул от машин, невозможно. Здесь могут «заментовать» меня с пивом, мамочки начнут кричать про куренье, но, если что, я согласен. Перед скамейкою лужа, можно сидеть только с краю. Напротив мама с ребенком лет двух, но молодая – не страшно. Мальчик в голубеньком комбинезоне стоит, держа лопатку как саблю. Тихо, может, смогу отойти от нагрузки. Мальчик пошел возле края площадки – как-то смешно наклонившись всем телом, ноги почти не сгибая: top-top – «...топает малыш».

С треско-шипением открылась банка в ладони – я смотрю на руку, и я сочувствую ей – надо ж, вот так попахала, что заскорузла, не чувствует банку, болят суставы на пальцах. Но заказ сделал, неплохо. Даже в душе пустота, «непонятка» – как без станка и без камня. Перед ногами стеклянно блестяли песчинки.

Что-то меня привлекло, и я вздрогнул. В метре напротив стоял тот ребенок, причем смотрел «не по-детски». Круглые щечки на круглом лице, чуть заострявшемся книзу, круглые очень большие глаза – серая радужка, цвета титана, черный зрачок, тоже круглый. И ни малейших эмоций. Ну и давно ли он тут... я не слышал. Шапочка кругло лицо окружила, и даже пальчики – как из кружочков. Одно вниманье. «Кто ты...» – Спросил я его про себя. Он не ответил и не шевельнулся. – «Дух у тебя, точно, есть, это видно...» Молчит и смотрит. Он даже не шевельнулся. «Вон уже мать твоя к нам зашагала. Кстати, а ты во что веришь...» – Он повернулся, пошел через лужу – и от меня, и от мамы. Все же сложна топология в нашем пространстве.

2. Матрешки

Ноги идут в переулок, где куст сирени усыпан цветами. В темно-зеркальном стекле – меня нет, только безликая личность меж очень длинных подтеков – полубезобразен, обезразличен. В каплях воды отражается лишь настоящее на настоящем. Как изменилось лицо за последние годы – стало совсем уже странным. Капли воды на стекле собираются в струи и бегут вниз – все изменяют, пытаются смыть, только у них не выходит. Пустой парадняк – я стою так, скрестив ноги, и я курю, слушая шорох его, глядя на ставший уже сильным дождь. Высокая дверь квартиры невдалеке – вход в смутный мир, затаивший дыханье, где нищета и достоинство грязи. Как постовой возле их мавзолея, я вписан в раму проема-коробки. Но мне не нравится цвет этой рамы – он половой, мрачно-ржавый, впрочем, и фон – удаляюще-серый, и даже место – ну что за портрет, если я справа и сбоку. Кто меня вставил, чтоб так рассмотреть – взвесь из дождя и нависшая туча. Поверх бордового мутного зданья и я смотрю на нее, но, что ей нужно – не вижу.

Я не спешу, но я занят – есть еще то, что пульсирует в прошлом, на чем пора, но пока не сумел, наконец поставить точку, иначе мне никогда до конца не уйти и из небольшого кафе, из того утра и ноты, не перестать быть таким вот...

...Я поднимаю глаза от стола и смотрю на лицо, и я живу им. Нет бога круче Ван-Гога – мне даже вновь начинает казаться – где-то я видел такую картину – такой портрет из мазков – ценность из истинной жизни, в этой его не бывает, только на дне в подсознании. И, лишь задумавшись, долго идя внутрь себя, можно найти его, всплыть, поднимая с собой те неизвестные в жизни потоки, выбросить через поверхность. Это лицо ее из бирюзовых светящихся пятен то отдаляется, то превращается в нечто иное, но только в чем-то всегда совпадает с реальным. Все в ней безумно красиво, это ломает все чувства и прожигает действительность, душу. Невероятная и утонченная лепка лица не отпускает сознание. Медные чуть удлиненные очень объемные пряди точно очерченным контуром падают от гармоничного лба, от плавных век, слабых ямок висков..., а прихотливая бабочка-губы словно придуманы кем-то. Глаза Алисы, которая здесь заблудилась, сама создав лабиринт-паутину. Все на лице крайне четко, все остальное, в сравнении с ней, слишком грубо. Даже смысл жизни перед тем лицом исчезает. Все, что вокруг – примитивный объем, но он становится вдруг бесконечным, и остается лишь видеть. Здесь, как бы за звуковым барьером – там, где слова не имеют значения, тишина все же не полная: то стук кастрюль наверху, то где-то чьи-то шаги – по-настоящему тих только я, но как раз дело в обратном – я это крик среди ваты, а пустота меня вновь не пускает. Я еще вижу, что было недавно.

...«Я» в самом центре матрешки. Рядом, стоит тишина, в ней только блеск. Тихо, и все теперь тихо. Все до нее было легким, пустым, что-то теперь стало важным. Вся шелуха исчезает, через меня вдруг проходит пространство. Свет убирает остатки теней, и что казалось реальным, уходит, да про него и не помнишь, нет даже и удивления. Ты, как и все, словно стал из стекла, больше не стало отдельного, раз все прозрачно. Сама материя здесь растворяется, когда приходит большое – все снова стало идеей. Чуть-чуть звучит лишь структура. Кто кого более выдумал – не разобраться – может, и я середина всего, а, может, я накопление чувства, и это мир в меня смотрит. Я даже знаю, наверное, что-нибудь скоро убьет во мне это. Но ничего не поделает с улыбкой – к этому я не привык, как не спешить и не делать. Было когда-то здесь облачко, как бы такой самолет – давно распалось, цветам не нужно стоять слишком долго. Я – будто был только дымом, и меня ветром размыло до фона. Я лишь сижу на гранитной ограде ступеней, у входа в метро, и я смотрю на других, как на море покоя. На дальнем плане – энер-

гия. Воздух – ладонь с тонкой кожей. Как на листе архитектора, еще в эскизе, по сторонам от проспекта, ряды домов – в пересветленную даль перспективы. Все наверху слишком легкое, но только выше глаза не поднимешь – им даже так почти больно от света. Мелкий осколок стекла на асфальте или случайный кусочек фольги все пробивают насквозь своим блеском. Электросварка апрельского солнца, как и ее отражение в луже, они весь мир расплавляют, делают зренье излишним. Если ж смотреть всем собою, кажется, словно большая фигура тихо скользит где-то рядом, выбрала здесь себе место. Есть другой вид. За ней поток: две удаляющихся плоскости сверху и снизу, а между ними река до предела. И снова свет, но после этой реки, он почему-то мне кажется темным. Самое важное – выбрать подарок, это рецепт настоящего счастья. Я, встав, иду в «переход». После зимы, только что, даже стены помыли из шланга, и только блеск под ногами. Я – «Грейс в огне», вся голова – куст из света, кажется, есть и такая гравюра. Как живет тело – чуть развеивается на мне пальто, я теперь только танцующий мальчик, хочется просто пинать водосточные трубы. Я как бы падаю прямо вперед через звонкость – от лоскута голубого в то, чем действительность, может, должна все же быть – тоннель слепящего блеска. «Гм» емь «апёстол» сияющей веры.

...Красота – код, открывающий дверь, и даже верхние двери на башне, куда уходят дух, разум; код оживляющий душу, и все во мне лишь стремится наверх, и все звенит в связи с нею. Настежь, внутри и снаружи. Я могу только смотреть, изменяясь. И она рядом, но в странном рисунке. Жизнь рассыпается, будто песочная горка. У всех своя иерархия чувства и в центре своя структура. Она безумна внутри своей цели-клише – благополучие-имидж, как бог, романтично, а мои ценности – мир-артефакт, ей это странно. Каждый рисует другого – своим отношением, и они вместе рисуют реальность. Я думал, что видел душу, а вышло – она только натурщица чувства. Мне даже чудится – ее давно подменили – монстры играют роль фрейлин. Может быть, это готический дух – рыжий, и острые ушки, и язычок – тоже длинный, он меня видит, не любит, но весел. Я ощущаю ее «свет сознания» и понимаю предельность структуры, но... леди – сон, и этот сон меня просто не видит. Только обломки вниманья. Чем Буратино, мне ближе был тот – там с ним в смиренной белой рубашке... , но даже плакать сейчас бесполезно – я и не умею. Все и во мне теперь тихо, если смотреть с этой точки. И мне пора уходить, а она остается. Если я встану, то плоскость вокруг разбежится. Жизнь – та же фэнтези, нет этой грани.

Прошлое кончилось, что-то вмешалось, жизнь после многих смертей надоела. Не в первый раз получилось, когда мне было настолько светло, тогда я слишком поверил. Все было только идеей.

3. Их город

Взгляд и иное

Я просто взгляд с угла крыши – должен смотреть вниз на двор.

Я взгляд всегда черно-белый и подслеповатый из-за слегка сероватого снега, вечно идущего в моем пространстве. Я знаю, что у других этот снег не идет, у них лишь вечная ясность. Я утонул в этом мире, в его проявленьи. Внизу блестит еще черный асфальт. Я хоть не вижу, но знаю – что и вверху чернота в струях сухой снежной пыли, но мне не холодно, всё здесь – картинки. Мой угол зрения градусов тридцать, это меня утомляет, но нету смысла менять направление. Я еще знанье того, что я вижу – память-сравнение и разум, но я почти равнодушен. Неинтересно быть только лишь взглядом, а интереснее думать, глядя еще и в себя, чтоб до конца проживать элементы эмоций. Можно еще смотреть в пятна, чьи спичко-ножки шагают, и уходить вместе с ними. Вот кто-то вышел из двери подъезда.

... Черный Ковбой, или проще – ЧК, вышел за двери салуна и посмотрел мрачным взглядом. Рука привычно двинулась к револьверу, но остановилась – что он забыл – он не помнил. Сонный Носатый здесь размыл ЧК, но сзади хлопнула дверь – он даже съежился, тогда ЧК возвратился. Нужно дотронуться пальцем до шляпы – ЧК пошел вдоль газона. Агент был просто агентом – немного сгорбившись в сером плаще, он лишь скользил мимо дома – этот сканировал взглядом пространство. Он не знал, зачем, и не знал себя – и нет лица, и нет кожи, лишь силуэт в этом мире. Вдруг сверху слабо блеснуло, и он присмотрелся – там была камера для наблюдения. И часть из полупрозрачного зрения он в себя тоже здесь принял. Теперь он понял – зачем-то нужно себя донести, чтоб принимать в телефоне призраков многих чужих ситуаций.

Возле подъезда машина мигала огнями – то вопиет, то бесовски мяучит, чтобы не дать здесь теньям стать зловещим действием мрака, видимо, ее вспугнули касаньем. Вот вдалеке силуэт, на лице полумаска из полусвета мобильного в бледном экране, скоро он весь станет лишь отражением. Он, наконец, огляделся – существование навязчиво плотно, стала уже поступать и синюшность рассвета, сыро, и ноги замерзли. Гулкою аркой он прошел под домом. Рядом толпа – остановка. Кругом одни усредненные лица – светлые пятна с глазами. Странных мир создал существ, все – лишь движения в слое. Они пришли из своих небогатых квартир, из своих трудностей, чтоб ехать к новым. Может быть, каждый отдельно и есть человек, но вместе – племя чужое. Полуболезненно он улыбнулся, а, впрочем, здесь можно все, так как все пойдут иначе. Рысью, суча восьминожками из ребордовых колес, пришел, скача и стуча, слишком красный трамвай, и все поперли на зев освещенной двери, внутрь – в чьи-то спины, затылки. Сыплясь, снежинки ему щекотали нос, скулы. Полгода здесь полужимье или уж совсем зима, шесть часов в сутки – один полусвет, а потом стадии ночи. Небо набрякшее, как будто взгляд алкоголика сверху. Переходя через мост, он опять улыбнулся – холодно уточкам в страшной воде на Обводном канале, в прошлом году он им туда бросил шапку. От фонарей кисти рук его тени были как кончики крыльев сутулых пингвинов.

Радостно на голубых освещенных билбордах, они – весеннее утро во мраке. Бред социального мира. Все здесь как будто стремятся к комфорту, но выбирают свою полунирность. Хотя действительных выборов здесь не бывает. Либерализм, то есть волчий закон, где «агнцы» сами волков выбирают. Если взглянуть на историю, то она список обманов. Если б когда-нибудь все они были нормальны, при любом строе здесь было б неплохо. Хочется только держаться подальше. Гладко-лобастыми тварями мчатся машины, а люди в них превратились в смотрящих. Все кругом чьи-то машины; в автомобиле сидит человек, в нем – его глупость, программы. Если так было задумано – сюрреалистом. Если стандарт их безумен, то трезвый взгляд здесь становится сюрмом.

Как всегда сбегая, как падаю, по эскалатору вниз. Сто к одному из них справа, стоят – им ждать нетрудно, да и они не особо стремятся к их целям. Или их взгляд оловянно не верит, или внутри него кружит, чтоб превратить в них самих же. Скользит и катится вниз эскалатор, и убегают назад, и в меня, отблески белых светильников на сероватом «люмине», на черном поручне-ленте. После последней ступени идут – потоки прямо навстречу, каждый из них в своем праве – пройти сквозь них всегда сложно.

Переменяясь со стонущим звоном, идут объявления – математическим матом через матюгальник. «Самостоятельно не обследуйте обнаруженные ... длинномерные предметы». И, наконец, все, размазавшись, стихло, я смог расслышать возникшее чувство. Там наверху нет дороги в естественном смысле, множество снова – ничто, и здесь нет тоже. Но все же, кажется – тень «в шушуне» где-то ходит по рельсам, ищет хоть здесь отпечаток. И впереди два канала тоннелей – как бы глаза наизнанку, но почему еще сзади... , где-то они разветвляются и упираются в стены, снова идут через вспышки сознаний. Станция, прямоугольность, влево и вверх –

а ей так лучше, это давление форм – торжество идиота. Свет мутно-рыж. Пыль, смутность зрения создали мир удивительно честный. Мрамор колонн был красивым – кость бывших жизней любила, но превращается в сальность, и, как бы, в смысл отторжений.

Обыденность, она – как сон. Они смирились – не видят. Она – колонны и воздух, ее пространство устроено так, чтоб было больно настолько, что сама боль притупится. Все предыдущее – цепь из начал, без завершения является всеми. Если всмотреться, то тусклость вцепляется в глаз всем ее множеством точек. И остается скользить по поверхностям, не прикасаясь. Даже сюда просочилась идея объема, но здесь она превратилась в болезнь. Здесь даже гулкость глухая. А вся способность объема вбирать не имеет здесь смысла. Что получается, это так странно – те, кто живут, до конца удивились. И, окончательно, сюда добавили чуть веселящего газа. Передвижение здесь ничего не меняет, если идти – только «между». Все занимается только своим бытием и не решает реальных вопросов. Все неустойчиво, тает, я – взгляд слепого на их совокупность. Их очень много. Так как все множество их запредельно для личносвязного знания, все растворила в себе анонимность. Имя, как код их истории и ожиданий, для настоящего здесь неизвестно. За анонимностью следом идет безъязыкость. Все здесь как будто конкретно, у всех вещей есть граница, они тебе улыбаются, рады – вдруг ты придашь им их смысл – они поглотят его тогда вместе с тобой. Но я во времени-тени. Главное – это пройти через пятна – есть ощущение, что стоит пытаться, что можно выйти куда-то, как из метро, на поверхность явлений.

Но всюду лица чужих серых жизней с тихим страданием собаки, поевшей картошки. За полосами испачканных мазутом рельс на очень длинной стене ближе к горлу тоннеля плакат-реклама – «Поликлиника с человеческим лицом – гинекология», фотография – загоревшие и белозубые задницы-лица. Я не могу, нашли место, ну сколько все это можно. Словно вселенная, из черноты накатила «паровоз», вот кто-то вышел, орда ломанулась в вагоны, и меня вдруг закружило и зашвырнуло кому-то на ногу. Мир меня перемещает. Здесь духота, теплота чьих-то тел, и непонятно куда деть лицо, чтоб не задеть им покрашенных хною волос. На остановках волны давленья от двери меня загоняли все глубже, но становились слабее. И даже кто-то читает: парень – паскудный журнальчик, женщина – женский роман, я посмотрел – наклонился. Вон там мужчина с газетой кроссвордов – ребусы мира в картинках, сам мир – издание получше. Вагон качало, как в танце «дурной паровоз», уши закладывало и раскладывало, опять остановка. Совсем прижали к стеклу. Как у них выглядит место в душе для других..., а у меня оно выглядит этим вагоном.

Я – бормотанье в реальном у этой замкнутой двери вагона. Раньше я видел себя небольшим, не судил, и мир казался огромным, теперь, как минимум, мы с ним на равных. Как будто вспучилось чувство – немоготу все вот это. Я опускаю лицо в него, как будто в воду, стал как пятно внутри капли – низ ее весь оплетен черными стеблями почти по пояс. Прежде внутри меня было пространство, теперь – нехитрый объемчик, причем заполненный тусклою грязью. Вокруг меня – звон у края, а все, что дальше – картинки. Все, что я вижу, неясно, как шевеленье за гранью, но жестко знает свой принцип.

Когда они рассосались, можно пойти даже сесть, долго ища, где действительно можно – то сидит полная женщина с сумкой у бока, или такой вот абрек, вдоволь раскинувший ноги, или смотрящие с легким прищуром. Пусть даже тел стало меньше, но все равно слишком много вокруг их очень плотных явлений, что постоянно приходится видеть. Я становлюсь сам таким, принимая.

Есть те, кто посовременней – эти как яйца из камня. Они обычно бывают двух типов: первый – «культурный» и второй – не очень. И причем первый страшнее – у них внутри тот же бред, только чистый, и, потому побеждающий больше. Всех их вскормили резиновой соской.

Директор школы сказал на прощанье, ему наверное так показалось, что я могу «зазнаваться» – «Ты только знай, лет через десять все будут такими» – лет через двадцать смотрю, без тонких частностей, стали ... похожи – в части культуры, одежды; только «такими» не стали, им – даже простой вопрос «почему» это заумь, так же живут, как и жили. Как будто бы отступая назад, я от всего отстраняюсь.

Но так еще некомфортней – вокруг остались их биоскульптуры. Они физически плотны, но не живут в настоящем. Все они чем-то похожи хоть на кого-то из виденных раньше. Вокруг совсем небольшой уникальности чувства на их лице вся их история личных событий с тем, что ее сотворило. Как не сменить планы смерти, не изменить план их жизни. Едут в свое добровольное рабство, потом обратно – где дом, телевизор, и нагревать под собой свое место. Они не знают мать-тьму, они не верят и в свет. Армия сопротивления-захвата – это они затвердели в ответ на крошечную подлость и сами стали такими. Было бы целое – было бы стоглазо, остановиться бы им, оглянуться, но в глубине лица слепы. А если «быть» это так, как «они», то я тогда не вполне бытие, и, значит, кто-то из нас привиденье.

Я не могу с ними быть сопряжен – как каплю масла с водой, меня нельзя смешать, а удалять – сложновато. Все они едут куда-то и проживают свое, фоновое осознавая реальность, а я же – фоновое еду-живу, перпендикулярно к тому я вырастаю куда-то. И я, вмерзая в них, вязну, и прорываюсь, чтоб, продвигаясь в таком измерении, найти-построить иное.

Закрыв глаза и увидел – там белый клоун ломался на сцене, я даже понял, что начал дремать, и хорошо – пусть появится легкость. Рациональность, как будто моргание, вдруг и опять поменяла картинку – как на экране в придурочном желтом объеме двое напротив друг друга. Чей-то мобильник на станции вдруг заиграл, и глаза сами открылись. Теперь напротив меня была женщина с мордочкой от Нефертити. Вновь мигнул свет, здесь уже мне выходить, и на меня нажимают. Что-то во мне еще тихо жило, я не подглядывал и не мешал, просто остался стоять на платформе, засунув руки в карманы. Но только легкая паника – я вдруг поплыл вместе с полом, так незаметно пошел рядом поезд. Кто-то тянул его пыльные окна, чтобы заткнуть ими глотку тоннеля – за ними месиво слипшихся тел, полуспрессованных лиц – словно пощечины, окна и свет, ускорялись.

Даже меня увлекало, но я устоял, как я сюда и пришел, так уйду, и меня в этом не будет – найду другие отсчеты. Ну а они, все такие, будут здесь ехать веками. Здесь ничего не дает мне надежды, есть только та, что всегда за спиной, перед чем дурь отступает. Ну, посчитал-посмотрел, за пределом сознания-меня, даже в такой капле взгляда без смысла – «не потеряв своей логики, выйти из логик явлений».

Я простучался ногами по камню. Все на работу, толпа успешила, поверх последних, как выход, виден ползущий наверх эскалатор. Только и там, наверху, все «подземно» – там опять будут дворы, углы крыш – все внедрено в этот город-реальность. Ступень эскалатора слабо дрожит подо мной, а зев тоннеля сползает за спину. Так много лет в этом роде. Скоро широкий контакт сократится до одного-двух общений зараз, чтобы под вечер опять разрастись и уже к ночи исчезнуть. Почти абсурд, он у них и внутри – метро и мир с серым небом. Может само оно так захотело, или же кто-то придумал, но вот такая реальность – фуфло, не реальность; а если все же реальность – чужая.

Про перспективу и ретроспективу

В городе тихо. Прямоугольный сарай на колесах – четыре черных и круглых баллона одновременно подпрыгнут на кочке. Нас обогнал большой джип – как будто сверху на нем

пулемет, и он почти побеждает. По тротуару шагают фигуры, все механически движут – телом, руками, ногами. Они снаружи глядят сквозь стекло, взгляд может быть оловянным, режущим, давящим – разным, но, все равно, им плохо видно даже сидящих у окон.

Серые стены и серые стекла тихо твердят – «все едино». Не различается все – безразлично. Чтобы подумать о том, что же именно думать, нужно сначала иметь установку. Взгляд, будто озеро, серый, и я такой же. И ухо слышит кругом белый шум, его совсем небольшие частицы и пустоту между ними. Нет поводов для удивлений, и, значит, нет для надежды. Здесь уже не закричишь – нету смысла. Душа пустая, как пропасть. Мой мир во мне развалился. И лишь одно помогает – непобедимая сила терпенья. Все будто копии от одного – все, как один, здесь чужие. Будто бесцветное мясо – гемоглобину, наверное, мало, причем заморожены, в то, что они надышали, и нет вокруг кислорода – бескислородные глюки. Невыносимая скука, хоть все вполне фантастично.

Не люблю лица – чужие, свое, в каждом лице своя крепость – беда, обман или жесткость. Каждый из них непреложен в его особом сознании. Пока на них не надавишь, они ничто не изменят. Все давно плотно живут этим миром, но до сих его будто не видят. Все отгорожены, и слава богу, ведь если с ними сейчас пообщаться, как от ожога крапивой – будешь потом недоволен. Каждый король в его сказке. У них для себя не банален поток их чувств, но это просто иная банальность. Оптоволоконный у них тип сознания – при очень узконаправленном свете, при попадании в их линии жизни, видно вдруг полумультяшную яркость. Конец пучка, когда моменты их жизни – скопище шмелей-циклопов, все на тебя с одним глазом. Но, стоит чуть отстраниться, все глухо – формы в дешевых, как ватники, куртках.

Объединение их странно. И объяснение «демоном» вполне подходит – как будто вправду невидимый «очень большой» здесь овладел почти каждым сознанием. И его способ въедаться в мозги – быть органичным со средним. Хоть есть всегда варианты, но своя дурость роднее, так как здесь все «очевидно». Лицо облеплено, горло забито множеством всех отражений от точек – каждая создана ими. Вместе они составляют картинку. Эти иллюзии даже казались мне жизнью. Мир их следов и следов рук – субследовое пространство.

Куда пропал этот день – непонятно, они порой исчезают годами. Красный, болезненно-красный свет цифр на узком лбу у трамвая и на обмене валюты, свет, убивающий зрение, но сохраняющий фотобумагу. Полупрозрачный идущий вниз холод от капель. Странное небо довлеет сверху, цвет его якобы черный. Все не звучит, все затерто, все в перевернутой черной реке облаков, переползающих стены проспекта. Это мой дом и бездомность. Во мне приятия к внешнему нет, и его нечего ждать, ведь впереди у меня лишь я сам, и нет взамен ничего – не умею.

... Есть, безусловно, и разные виды вниманья: в моменте дня – когда смотришь вокруг, и – когда вдруг попадаешь, как в копать, в то, что в душе накопилось. В последний год, будто движусь по линии графика – то улетаю в какие-то ямы, выспавшись – приподнимаюсь, но общий уровень – к низу. Вокруг, как будто свисают вниз нити, но их, конечно, не схватишь. Весь мир из прошлого колом стоит в голове, в груди, в эмоциях, в чувствах. Нагромождения событий все оказались не нужны.

Вокруг, я знаю, миры снов-сознаний. Неопределенность сходящей сюда темноты сама чего-то рождает – я смог легко допустить, что за плечами ко мне приближаются лица – с кем был знаком, все с выраженьем почти что хорошим. Я был когда-то притянут их светом. От них здесь все и зависит – они все мне присудили молчать, ну а себе – быть незримыми глазами. Странно, ведь я все отдал, и им идти за мной незачем больше. И спорить с ними нельзя – раньше и незачем было, ну а сейчас бесполезно – что непрактично быть просто практичным, быть, например, непорядочным глупо. Я был не прав, когда что-то от них захотел, и, соответственно, они тогда от меня захотели. Нет маловажных деталей – все они потом стреляют. Все

это я видел раньше, всегда, только зачем-то не верил. Собственный взгляд мой распался, и я смотрю их глазами.

Лязгнула сзади решетка под аркой. Тут поворот, не люблю повороты. Вечная яма в асфальте.

У каждой роли есть маска. Ты в чем-то слаб, и тогда она, будто чулок, мнет твои черты лица в напряженьях, они уходят внутрь в душу. И им навстречу всплывает такое, что ты и знать-то не хочешь. И уже даже внутри для тебя не остается пространства. И говоришь то, что стыдно. А потом с этим приходится жить, очень стараться не помнить, и много раз снова вляпаться в это. Если уж черт угораздит родиться опять, я бы хотел это помнить...

Я был всегда убежден – самое глупое, что может быть, это судить не себя в том, что с тобою случилось. Не то чтоб я поглупел, просто вижу сейчас – жалко, что верил в чужое. Никто об этом меня не просил, но я судил по лучшим их сторонам, не ожидая иного. Лохов здесь любят, и за фантазии нужно отдать натуральным. За все хорошее я заплатил, но я не видел, чтоб кто-то платил за плохое. Думаешь, они на что-то никак не пойдут, так как не смогут жить с таким позором – нет, ведь живут, не страдают, но вот уже много лет мне видеть их неудобно, и дно – двойное, тройное... – им мир уже не учитель. Стоит их вспомнить, почти ото всех сразу становится тошно, от остальных – тоже гадко, но позже. Кто, кем, за что осужден – или вот это их норма? Но безнадежней другое – все теперь неинтересны.

Полупустое пространство двора – стены здесь под цвет картона, несколько оконверху желто-красны – видно свисание люстр, свет их въедается в щеки, а остальные все черны. Может быть, там-то и есть потусторонние лица – от них волна раздраженья, и ноги вязнут в песке коридоров. Я не завидую тем, кто внутри – здесь воздух больше. Хочется даже услышать здесь низкий звук труб. Было бы правильно, если бы был под ногами провал, куда бы все улетало, но нас таких пустота не приемлет. Пусть даже кто-то нацелит сюда большой палец, только измажет об черный асфальт, он ничего не придавит. Клен, словно поднял вверх руки, но сам не знает, зачем это сделал, и они там истончились. Темные хлопья летят позади, впереди пусто, мандражно.

Сколько раз вывернешь ты этот мир – столько получишь другую изнанку. Все выгибается в нечто иное, только, отчасти, ты сам остаешься.

4. В калейдоскопе

Про пржевальскость

Душа это, может быть, то, что увидел когда-то. Голубизна, почти ставшая синью, неразличимые вихри. Если прикрыть глаза, то скоро в них видишь жизнь – в них тоже есть свое дело. Днем облака здесь редки – те, что отстали, лишь еле ползут, чтоб уже ночью в траве стать росой или спуститься на камни. В очень большом – до границ с фиолетовым маревом, что поднимается до черноты, ультрамарине, пропитанном светом, им все неважно. И пятитысячный ставший уже ледниками хребет они не видят. Там мне лет пять, и плоскость мягкой воды Иссык-Куля. На само солнце смотреть здесь нельзя, но невозможно не чувствовать света. Все было потусторонним. Возле арыков, создав воде тень, шли тополя, как шуршащие свечи. В более плотной тени от садов не было слышно ни звука, кроме другого шуршания. Улицы шли, уходили, в них по утрам даже было прохладно. Центр был наивней – на тротуарах жар просто давил – не те деревья, тень их лежала внизу островками, стены домов и асфальт, нагреваясь, лучились.

Там десять сорок утра и воскресенье, лето. Спали, наверное, все, я шел по коридору. Там, среди тел из чужих непонятных мне снов было действительно дурно. Мои «сандали» среди

другой обуви так и стояли. Упершись лбом в металл дверной ручки, я вдруг почувствовал, что меня ждут, и даже стены вокруг это знали. Шкурки мгновений из прошлого стали теперь за чертой. Я потянул за собачку и вышел – чувства усилились, стало спокойней. Все вокруг было одной тишиной, это она говорила. Я глядел сразу вокруг – чуть-чуть иначе, чем там на Урале – синий здесь жестче. И я присел, и смотрел на их дом, и был одним ожиданием, и я почувствовал, что здесь прохладно. Пространство, залитое белым потоком от солнца, было шагах в десяти, я просто вышел из тени. Все небо сверху палило меня. Хоть тишина была также и здесь, но не такой прирученно-домашней. От тени дома до бесконечной песчаной горы – все меня словно сжимало. Я огляделся – песок, голубизна, больше нет ничего, а, что звучало, шло сверху. Но подниматься пришлось очень долго, не один раз я вставал, видя, как пыльный песок под ногами меня увлекает назад, и я сползаю обратно. Были спокойствие, радость. Я даже не удивился, когда, замерев и упираясь руками в колени, вдруг, обернувшись, увидел – я уже выше домов, где-то на уровне острых вершин тополей – и между ними – зеленоватую стену воды и, к ней, дорогу и домики порта. С каждым усилием только лишь ног света кругом было больше. Я встретил ящерку – и она двигалась вверх, остановилась, почувствовав взгляд и, развернувшись, спустилась. Мы изучали друг друга. Солнце сжигало мне голову, спину, оно старалось меня уронить в раскаленный песок, но это было неважно. Я уже знал, что меня позвало, что тишина – отзвук неба. Я ощущал его токи – от его звона, летящего вверх от песка, до тихих светлых течений. Как меня ящерка, я вбирал все, и становился гудящим. Что-то невидимой легкой рукой перемещало меня, делая всем этим небом. Глубина света слилась с глубиной темноты. Там было что-то живое, был как бы голос огромных. Он говорил, но не мне, объяснял, и где-то там мы совпали. Даже сам свет, отраженный песком, стал уже давним. Чуть-чуть не выйдя наверх на плато, я сел в песок. Все еще лишь начиналось – я стал совсем равнодушен, сразу мог видеть все, что вокруг, глядя перед собою. Я был во всем, все шептало. Все – тень от света. Грани, углы иногда велики, и можно даже приблизиться к краю. Я там смотрю до сих пор, но мои мысли – фрагменты. Когда потом я сошел, съехал вниз по песку, все уже залило солнце, и было слышно вокруг: «С добрым утром». Мне стало здесь неуютно, голову слабо кружило – значит, побыть человеком.

Я – больше то, что увидел тогда. Из-за того я полюбил потом горы и цвета-звуки органа. Через то небо я вижу. Те ощущения были неясны, но в результате реальной, чем вещная данность. Там появилось какое-то качество, что потом всюду влияло по жизни. Можно построить конструкцию слов, чтобы назвать это свойство, но только проще сказать «пржевальскость».

Про речку Каргу

Да, я – вода, часть блестящей воды – как, если взглянуть с улицы на окна дома. Я был частью ручья – очень прозрачного, мелкого, перетекавшего возле травы по округлым камням – они коричневы сверху, но, если их взять и разбить, тогда стеклянно-блестящи. Я был ручьем и играл, обтекая округлые камни, возможно, я их не касался, но был очень близко от них – крутился, негромко шумел и плыл над ними, был легким. Даже не чувствуя их, я поднимал иногда со дна стайки песчинок, перебирал их, сгонял в облачка – и сам не знал, что же это такое. Кто-то глядел в меня сверху – я даже чувствовал смутные лица, блеклые, как голубоватое небо за ними – они были совсем не важны и оставались всего лишь тенями, которые очень легко забывались. Лица смотрели в меня, на меня, я и не спорил – играл и немного жалел их, я им показывал радость. Наверное, это родители, и рядом я, но только тело, а вокруг – покрытые дерном, короткой травой, поляны, гладкие, перетекавшие в мягко взлетающие склоны. Повсюду – над ними и между них – голубоватое детское небо. Потом, подальше, наверное, я был рекой, и содержал в себе всё – все течения, застытьшесть. А за холмами был город – разнообразие стен, углов, окон и солнечных бликов на стеклах – как будто все окна недавно промыли, а стены

решили не чистить от пыли, целые реки асфальтовых улиц и тротуаров – в том желтом городе тоже жил свет – солнца и бледного неба, так же, как я, он был тоже веселый. Кроме асфальта там были газоны с разлитым в них светом. Цвет стен был бледным, в согласии с сонностью неба. Углы домов переплетались. Это был город, где я становился ребенком, и этим городом тоже. Надо мной иногда были птицы, но им было трудно подолгу кружить в бесконечно-задумчивом небе, и они иногда исчезали. Я был ручьем, и когда возвращался назад, мои детские ноги болели от дальней прогулки, однако внутри был прозрачен, перетекал через эту усталость. И все же еще я был светом и ветром над низкой травой, и, что важнее всего – небом. Был и домами, и стенами, их светло-желтой окраской, но и при этом я к ним прикасался. Город был теми камнями на дне, воздух был мною, водой, а песчинками – люди. Лицо, загорев после долгой прогулки, само ощущало улыбку.

Не удастся подолгу быть в прошлом. Опять брожу в коридорах сознания, что я ищу, в самом деле. Еще недавно я был опять на Урале, там само небо и воздух несут в себе что-то. И я был весь влит в реку, в лес – в их и мои перспективы. И даже умным там быть было мелко. Смыслы не образы, это заряд, и смысл не есть расшифровка.

О представлении смыслов

Видимо, из-за таких эпизодов я и стал мыслить иначе. То, что там было, не говорит ничего для всех обыденных целей и типов сознания – оно от глаз до затылка прошло всю голову, не задержавшись, ничто ему не мешало, и только в самом пределе дало почти абстрактное знание, сформировало привычку.

...Однообразие это тропа водосвинки – завтра опять на работу, той же дорогой, в то же время, чтоб заработать убогие деньги. Разум здесь есть одинокое дело. Логика ходит по кругу. Что жив, что нет – жить-умирать можно только собой, но когда включен в явления, сам можешь разве что думать. И никогда уже лучше не будет – ну не считать же за лучшее отпуск – восстановиться б, и то, слава богу. Рядом по улице – люди и люди – осознают, идут, смотрят. Вокруг слои, разноцветные пятна. Здесь сейчас воздух прохладен, но уже ближе к Москве он теплеет, и там сейчас бабье лето. На фоне красной кирпичной стены, вперемешку – дерево, все в ярко-желтом, и мрачноватые клены, сухие листья на них, как будто трупки парашютистов, кустики в беленьких шариках, кучи из скрюченных листьев, и листья в черных блестящих мешках – как жертвы в братских пакетах.

За этой красной стеной комбинат – на этажах слои душного воздуха, блеска и стука, лица усталых людей – две сотни впаянных днем в одно дело. Каждый из них по отдельности тоже пятно. И мне платили, чтоб так продолжалось. Где-то вдаль есть пятно разных пятен Европы – там уже люди с погодой другие. Кругом одно, лишь меняются люди. Вокруг по Питеру – ход и толпленье, как будто празднично, но мрачновато. Но, если вслушаться в частные точки, то вроде бы ничего, звуки их даже бывают печальны. Снова слои, снова пятна. Каждый живет в своем калейдоскопе.

Я заточен в этом мире-картинке и включен в разные пятна, которые знаю. Знаю – чего не люблю, или чего бы хотелось. Но, стоит мне повернуться спиной, чуть забыть, как сразу все покрывается дымкой. Иду по парку, сажусь покурить, на карусели напротив катаются дети – очень серьезные, выше колена, а сверху музыка и жить-начхать – в вязком-простуженном воздухе гулко звучит что-то не очень по-детски. На белых брусках скамьи желтый лист, но только неинтересно читать линии его ладони.

Что-то не нравится мне их реальность, я помню-вижу извне – так поле зрения шире. Через оправу сегодня и этих кустов я смотрю перед собой в калейдоскоп-канал смыслов. Я прохожу еще дальше – и разговаривать не с кем, можно оставить всего десять слов – этого

хватит надолго. Я теперь просто носитель позиций – лишь опознания и отношения. Необусловленность это и есть объективность.

Сущности ясен один язык смыслов, но, как слова, они часто мешают. Разум идет по пути представлений: если теперь оглянуться – туман и улица, и силуэты от зданий, но со своими законами в каждом, где смыслы – входы, вот только выход из них в лабиринты. Смысл, он не просто значение, роль – все это как-то восходит в весь странный мир априорного знания.

5. Юрский период сознания

Глаза закрыты, так лучше. Для меня нет больше завтра – и завтра будет сегодня. Нет, я вполне хорошо отношусь к окружающей меня реальности, и, может быть, с пониманием. Все, что ни сделаю, здесь просто тает. Куда растратился мой личный импульс – видимо, его совсем завалило тем, что, как хлопья, летит из окружившего мира – как карусель при метели. Оно меня не волнует, но заглушило – забило глаза, уши, рот – даже сказать что-то сложно. Есть много тех, кто в таком же, как я, положении, но также много и тех, кто все вокруг превращает вот в это. Зрочкам под веками тесно, и я открыл бы глаза, но будет резать – свет, он нелепо активен – «а записался ли ты..., а вот они записались!» Я не хочу быть ничем, что все они могут видеть, и не хочу так же видеть, что все они хотят мне «показать», и я глаза не открою. Что-то рождается из полутьмы, чуть проходящей в глаза через веки – все в черно-розовых красках – чувствую или же так представляю. Глаза шевелятся под тонкой кожей.

Серные гейзеры, копоть и облака древней пыли, как на планете Помпея, вокруг крушатся статуи. И, хоть «я в танке» – мне пофиг, но кислород в дефиците. Все здесь уносится ветром, и в недоверии оно теряет свой смысл. Каждый в отдельности почти разумен – в пузыре собственной жизни, но, глядя со стороны – их затянул в себя бред. Кажется, очень несложно тупо оценивать – правда-неправда, в чем что-то правда, насколько, не потрепывать откровенную дурь... Влезать в дела их не стоит. Общаться с ними всегда бесполезно, смысл их сознания мне недоступен – что они думают, не понимаю. И мне почти их не жалко. Я развернулся, ползу прочь от них, но я опять почти там же. Вокруг «болота всех верящих» – щупальца, жала и пальцы. Зло это часть формы их бытия – оно сочится повсюду, Юрский период сознания. Хотя, конечно не Юрский, и не период, конечно – все безнадежней, древнее. И я бы сжался, накрылся своим одеялом, но только подлость вспорола мне кишки. Выползти, пусть только внутри себя, туда, где чудится что-то другое. Я очень прост в своих мыслях, я здесь, похоже, пришелец – я не могу его вспомнить – мой мир, всегда ускользает от взгляда сознания. Те, кто пытаются здесь тоже ползать, не догоняют теченья. Я так же – ткни меня пальцем, и я развалюсь, только одно издыханье.

Мир нижних уровней правды. Жидкая туша тут пляшет лезгинку и зазывает бровями. Из-за бугров торчат уши друзей, призраки их идеалов. Надо всем некто, расправивший крылья, под ним ничтожество для представленья. Тип эффективности стаи, конечно, менялся, но ее суть оставалась. У них короткое зреньё – от «я» к предложенной цели. Жадность здесь двигатель стаи. Мозги покрыты хватательной мышцей. Три основных их инстинкта, а остальное неразвито, сгнило. В непотопляемой лжи все бегут, но лишь шустрее взбивают болото, потом они матереют. Дрянь от них – как из брандспойта. Мертвенно светятся их небольшие пространства, на напряженье слетается мусор, здесь радиометр воеет. Злость на их злобу мешает, но только выдохнуть ее не просто. Их стада, стаи, их тьма – они по горла в болоте и не мычат, не умеют. Ты в стаде совсем не видим, оно тебя подпирает. Вокруг кишат паразиты сознания – мир плохо видимых форм их же мыслей. Пусть скажут «это такая природа», но это значит – она много шире, если аспекты ее можно выбрать – я точно выбрал иные.

Если находишься «в теме», то не любую картинку ты можешь подставить как представленьё чего-то. Разум пытается мне говорить, что так я сам создаю полусны, но, я-то знаю, что в

них нет фантазий. Когда был раньше придуманный смысл, я был еще подотчетен ему, теперь я верю лишь в то, что увидел. Сюр-и-реальность в квадрате принятой мной черной рамки. Телу тепло, я завидую телу, что ему так мало нужно – серая глина на сером. Но через веки уже начинает казаться, что вокруг стало светлее – мир, проявляясь, меняет сознание. Я открываю глаза, фокус-покус – то, что казалось вполне очевидным, теперь не видно, нисколько – наполовину я в «мире».

6. Корпоративы

День металлурга

Тело еще не готово к движению, но его что-то выносит за дверь. Вокруг стоит оглушительно ночь. Может быть, на глазах слезы от ветра – блеск фонарей вдалеке слюдянист и расплавлен. Но мне не холодно – я в своем черном пальто тихо иду по платформе. Народ выходит из розоватого света вагонов и превращается в очень спешащие пятна, вот и почти никого, только два-три – как и я, те, что чего-то не помнят. Я тороплюсь, догоняя толпу, но слишком поздно – она рассосалась. Я иду так же вперед – между путями по гравию перехожу много рельс, чтобы попасть на перрончик. Здесь очень маленький старый вокзал – кто-то куда-то бежит – кто в буфет, кто на поезд.

Сейчас уже почти ночь, но еще день металлурга. Пора, я должен успеть во дворец. В желтой коробке автобуса вдоль сероватых коробок домов, где так же душно, как здесь, меня провозит душой, как по пыльной стене – там мамы могут кричать на детей, а дети их ненавидеть, мужья не знают, зачем терпят жен, ну а они, стиснув зубы, строят ненужный порядок. Там могут даже любить и бывают добры, но, так как воздуха мало, им часто тошно. Когда они выключают свой свет и мельтешащий картинками свой телевизор – в майках, в ночнушках идут по квартире, на дне их глаз совсем пусто. Там в туалетах по фановым трубам ходят шумы. Даже в автобусе их густой дух выжимает мозги – я задыхаюсь, пытаюсь понять, почти скрутившись в спирали.

Наконец, местное чудо – мост, в виде фиги из пальцев – ты по большому въезжаешь и едешь над блеском рельс, где раньше были вагоны, а указательный ведет на площадь (на склоне черной горы) сзади которой отвалы и жуткий мегакарьер, где ничего уже не добывают (а раньше брали, везли гематит, а сидерит, полежавший на воздухе, был лимонно-желт и, доходя до коричневых красок, почти стеклянно блестел, удивляя) – теперь сверхъяма. Сразу за площадью уже дворец, меня мутит от круженья по мосту, еще удар торможенья – и, зашипев, открываются двери – полусогнувшись, стою и смотрю на газон – очень стараюсь его не испортить. За зоной сумерек я в зоне тьмы, и свет в глаза уже больше не давит. За спиной круглая площадь, и я оклемался, воздух спускается сверху из глубины черноты, летит порывами снизу с долины – смотрю наверх, словно жду, но дожидаясь лишь холода в теле. По краю площади мимо газонов иду к огромному зданию на верхней точке наклонного круга, а оно, все розовея, как будто не приближается, делаясь лишь горделивей. Когда дошел, как всегда, постоял перед его исполинским масштабом – передо мною в сплошном освещении метров на десять уходит наверх арка двора, по сторонам от нее барельефы из гипса, хоть и подсвечены прожекторами, но разобрать что-то трудно – кажется, что на одном повторенье парижской коммуны – женщина с флагом и со страшным ртом, у ног как будто сугробы. То же, что слева, отсюда не видно, но, словно мощный аккорд, почти слышно.

Я вхожу в эту огромную арку – под ее сводами мои шаги вдруг превращаются в грохот, а ветер, дующий в спину, меня едва не роняет. Вширь открывается двор, и я внутри куба-коробки без крышки. Со всех сторон ряды окон – ряд настоящих, над ним ряд фальшивых,

ряд настоящих, и снова. Сверху глядит черно-синяя ночь, но осторожно, склонившись. Очень большая квадратная площадь, ближе к углам впереди два газона, из них взлетает вверх свет, чтоб осветить две гигантских скульптуры по сторонам от огромной двери – тоже цемент, алебастр и побелка – мощная женщина с серпом в руке, солдат с винтовкой, и это все можно лишь угадать – свет до их лиц не доходит. Но напрягает не их высота (хоть тоже ведь этажа на четыре), на той стене, где они, происходит что-то подобное жизни. Ветер, толкавший меня через площадь сюда, и здесь попавший в ловушку, крутится, гонит к стене у подножий скульптур пыль и поднимает ее в своих вихрях. Фигуры пыли в лучах прожекторов бросают тени на стену, а тени движутся, входят в контакты и изредка налегают одна на другую, перебегают и тают. Я попытался получше увидеть их – сущности из завороченной пыли – что-то, чуть-чуть, будто души, но на зубах заскрипело. У ветра здесь была цель – выровнять свое давление, у стен и света была своя цель – та, что вложил архитектор, цель была даже у пыли – опасть, и все они наложились здесь в кубе, в розовом свете, идущем с его бледных стен, и в моем взгляде-сознании. Не было собственных целей, наверное, лишь у теней, а было объединенье; но, чтобы это понять, тени должны были б знать, что происходит вовне и внутри этого двора-коробки.

Дверь для людей ростом метра в четыре – мне даже стыдно, что это лишь я, и до двух метров не вырос. Тяну ее за огромную ручку и напрягаю всю спину – тусклые стекла презрительно смотрят, и я почти что зверею – нехотя дверь приоткрылась. Тамбур, фойе, вестибюль – я перед лестницей с красной дорожкой, она, как длинный язык, поднимается вверх между рядов, будто зубы, балясин и беломраморных скользких перил... так же – как челюсти, вверху балконы. Ну, ничего, я здесь раньше ходил. И еще с верхних ступеней я снова вижу «то небо» на потолке в пустом зале – голубизна, самолетика в центре, а по краям – очень радостных, ярких, мордастых – вот сталевар с кочергою (будто она его посох), это – колхозница с большим пучком (видимо, зрелой пшеницы) – ими покрыто там все по кругу неба-плафона. Еще почти не возникнув, они вознеслись, теперь сияют, смеются. Мои шаги по паркету огромного зала гулко разносятся между колонн, но никого не тревожат. Впереди чуть приоткрытая дверь, там второй зал (когда-то бывший моим кинозалом) – я про себя очень сильно молю, чтоб войти – ну а там те мои прежние годы, и красный бархат в стороны ползет с экрана и остается на креслах...

Я не опоздал – на сцену вышла солидная дама и объявила – «Теперь у нас представление костюмов!» – Зал загудел от хлопков и шагов. Она продолжила – «Лучших ждут наши призы. Принимайте». Хлопая, она ушла в глубину, на ее место из зала поднялись: Иван-Дурак и Аленушка, Баба-Яга. Они играли какую-то сценку, я подошел, присмотрелся – слов было не разобрать, но интонации их и движенья были отчетливы, явны. Я сразу понял, кто Баба-Яга – она учила меня математике в школе – хрупкая, добрая, а ее сын, тот, что сейчас исполнял Дурака рядом с ней, я хорошо его знал – искренне подлый и злобный. А вот Аленушка эта – она все время молчала, но ее взгляд был тяжел – она нас всех сосчитала. Сами они или давший им роли, все подобрали по-своему точно – теперь и правда привычно это смещение форм с содержанием. Кругом сплошные подмены. Завода нет лет пятнадцать, а управленье осталось, где сталевары теперь варят деривативы. Граждан, свободных и равных, здесь не было сроду, а демократия всюду.

Они, обычно живущие днем, всегда почти обесцвечены светом и почти полностью встроены в схемы – словно опилки железа в магнитное поле (даже гудят в нем, при соблюдении своих направлений). Теперь отпущены ночью – что укрывалось внутри по непросвеченным днем закоулкам, теперь почти ожило, и они стали различны, выбрали лица, костюмы. Все они что-то хотят, даже верят в свое, я им завидую в чем-то – их жизнь острее и ярче. Все ожидают чего-то – что вот проснется их самость и уведет их туда, где вечера станут лучше, или же будет что вспомнить – где их рыбалка, стряпня, там все хозяева жизни. Если общаться в отдельности с каждым, часто оно дает радость, будто от вин в магазине, но результаты, как правило, те же

– потом обычно похмелье. Склонности у всех различны, каждый считает их правдой, кажется, что их немного, но крайне трудно найти двух людей, чтоб они были совместны.

Это как море травы – нет двух стеблей, чтобы смотрели в одном направлении. Разум-то – разум, как печень, полезная вещь, но вот стремление «кверху» – иное. Кажется, будто я знаю его – направление «вверх», только никто из них не согласится. Что есть «живое начало» – я представляю себе – будто кокон светящейся плазмы внутри их пространств – где-то он есть и гудит, где-то он тускл, еле виден, где-то размазан по жизни. То же, что кроме него – серый взгляд, шаркает, кашляет, дышит.

Все были вовлечены, или хотели вовлечься. Их демонстрация ролей, костюмов слилась в какую-то пьесу. На сцену выехал замок, вдоль углов башен свисали растенья. Рапунцель в черном своем балахоне тянула руки к младенцу... В маске, накрытой его черной челкой, где глаза пристально смотрят, как дыры, вместе с ней вышел сатрап – он по-русалочьи подвигал бедра, поднес к губам свою флейту и закачался под ритм на носках, все поклонились, встиваясь в ступени, перенесли его в кресло, жестом, не сдвинув и локти, он раздавал им монетки. Но кто-то в темно-зеленом трико – сабля, звеня, вылетает из ножен, лезвие лучше отточено, чем в лазарете, вырезал ею кусок темноты. Сатрап в ответ шевельнул в руке тростью. Многие были с рогами – вот-вот согнутся... На серый камень вполз плоский ползун – переливается красным, бордовым, а всевозможные щупальца лезут... Здесь можно только лишь видеть – где-нибудь в мире без подлостей я был бы лишь пожирающим горы идеей, а здесь смотрю в завитушки. Я неподвижен, как в страхе.

Вновь вышла тетка, как борец «с-умо'м». «А теперь бал-голограмма» – она взмахнула руками, свет изменился, включились проекторы, вокруг возник чудо-остров, как на рекламках батончиков – с пальмами, с пляжем и с подсиненной водою, запахло солью и морем, подул ласкающий ветер. Аплодисменты взорвали пространство, через них выросла музыка и шум волны – все было явственно так, что я взглянул – что с паркетом. «Голая грамма» висела вокруг – будто «раздача слонов» вдруг сбылась, состоялась, вырвалась из всех наружу, а без нее что осталось было отходами, шлаком. Они – наследники тех на эскадре и в мире, кто не пошел на мятеж вместе с Баунти – с тех пор в их кармах живет мечта об острове-рае. Они, как дети на елке, очень стараются вжиться. Мой предок ушел от Грозного, и я такой мечты не имею. И я иду – ухожу от их пляжа, где они скачут, танцуют, и прохожу стену крошечных брызг, где возникает картинка, и потом влажный, оплеванный ею, иду к стене, в полутьму – мне страшновато все это. Я оказался один в своем четверть-пространстве – нельзя назад (где стена), нельзя вверх-вниз, только вправо, передо мною за «пальмами» – их карнавал, над ним сплетаются звуки. Я вне их мечт, ничего не хочу, полупридавлен их жизнью. Про «человека-за-сценой» я знаю, читал, но я теперь – человек-за-экраном.

Потом у них были Лондон, Париж и мир травы – правдоподобно настолько, что каждый раз раздавался восторженный выкрик. Вот реконструкция – всюду кипит Бородинская битва, летят ужасные кони, кровь, дым и ядра. Но больше прочего всех поразил мир подводный – вокруг акулы, цветастые рыбы. Я подустал наблюдать, сел на тумбу к цветам – сколько их корпоративов в год мне приходится видеть, и все они под копирку. Потом включили и звезды – вокруг галактики плыли, а зал, наполненный шарканьем, шумом, был по объему не меньше – странная опухоль в центре. Мне стало жалко инопланетных людей, всяческий высший к нам разум – ведь они все видят нас, видят подобное в других мирах и до сих пор не свихнулись.

Потом, конечно, был Колонный зал и двойники: Сталин, Ленин, Петр Первый, Екатерина и Путин – все танцевали и брали автографы, и бутерброды с икрой. Дамы, напившись шампанского, пели, а мужики после водки гудели. Началось шоу «Точь-в-точь» и шоу «Голос». Мне захотелось завывать самому, так велика была сила искусства – повсюду смысл, и все великое рядом. Обрывки фраз из их песен перемешались во мне, как в других, и скоро все про-

светлятся... – кажется, я вот сейчас упаду и буду дрыгать ногами. Но они крепче меня (металлурги) – все голограммы погасли, и начались танцы, всем было весело, каждый кружился.

«Теперь черед группового портрета» – они смещаются, все, в область сцены – делают лица умнее, кашляют (чтобы не кашлять потом) и оправляют одежду. И постепенно сливаются в один сплошной организм – в общее темное тело, и только головы, и световое пятно – перемещаются где-то отдельно. Тело их тел замирает, и между ними и мной блестит пространство паркета. Изредка я ловлю взгляды: один – пустой с поволокой, другой – как будто бы с искрой, а третий – просто бездумный. Только одно меня чуть напрягает, что почти все здесь желают добра для других не всегда и только в собственном стиле. Но, что мне им объяснить, чтоб они стали иными? Я уже скоро уйду, зачем пытаться вносить в их реальность то, без чего они жили.

Они застыли напротив меня, ни кто из нас не торопится – ждем, когда же вдруг прозвучит нежный звон, что весь процесс представлений закончен. Всё – звук спустился на плечи. Я был здесь как мыслеформный художник (лет сто назад был бы просто фотограф над аппаратом с треногой) – все, что представилось мне в этот вечер, все теперь сзади меня на объемном экране – все повторяется, переливаясь. Как будто я просто шел, размышляя под нос, и обогнал марш колонны, теперь стою, наблюдая. Моя работа, зачем приглашали, кончена, можно уйти – все мои образы уже отправлены в сервер. Кто-то себе распечатает это в картине (маслом и в стиле Рембрандта), кто-то себе отольет барельефик из бронзы, кто-то (набрав регистр фильмов) скинет все это на флэшку, я заберу с собой в виде рассказа – на 5-d принтере делай что хочешь, а я к жене в тусклый питерский свет, к своим лимонам и кошкам.

Немного бледного в сером

Сосны, высокие для здешних мест, слабо шевелятся в небе. От облаков вокруг серо. За спиной гул ресторана. Я бы уехал уже, но, говорят, что на трассе огромная пробка – два лесовоза столкнулись (причем, не в первый, ведь, раз – я проезжал как-то мимо такого – бревна, машины лежат на боку). Кажется, что позади меня синий клубок, сгусток готовых эмоций – стоит вернуться, войти в него, и начинаешь вдруг всех беззаветно любить, но ведь и правда – хорошие люди. Как-то само вырывается – вдруг начинаю шутить, сам становлюсь усилителем поля. И только малость волос на макушке как-то щетинится и говорит, что ты потом пожалеешь. «У них опять первомай». Там у них музыка по перепонкам, как гром, а по столам скользит луч разноцветный. Через стеклянные стены кто-нибудь смотрит сюда из слюдянистой глухой черноты и обязательно выйдет ко мне, как столкновение двух динозавров – что-то рванется к нему из меня, что-то его будет ко мне тянуться.

И было б «все ничего», если б комком не стояло под горлом то, что давно получил от других, горечь, отчасти, его растворяет – я бы отдал им назад их хорошее, раз оно с такой нагрузкой. Когда к кому-то я был привлечен – был глуп, фатально. Внутри меня люди прошлого борются, и даже после их видимой смерти каждый стоит на своем, как будто триста спартанцев. Был путь «для них», и я на нем развивался, а путь «без них» очень странный. Поговорить бы, конечно, хотелось, но только все говорилки – пустое. Я это тип тишины посреди внешних законов.

Что здесь действительно универсально: первое – просто смотреть, а во вторых – включить память и разум. Весь фокус в фокусировке, а у меня ее больше не стало, все размывается в пятна. Иногда пятна абстрактных рисунков при наложении сливаются в общий закон, и в этом месте возможно пройти через пачку картинок. У всех специфика, и только я – это «нет», то есть отсутствие всех различий. Лишь состоялось, что было – знаки, прошедшие через меня, что сумел выделить – это осталось. На все смотрю как умерший, ведь много раз уже умер – и в прошлой карме, и карму назад. Но только все жизни-кармы – чужие, мои – это сны, все они

были, вложились в тебя – их больше незачем помнить. Все ставки сделаны, и все проиграны очень давно, в тех прошлых жизнях.

Нужно вернуться вовнутрь, за стекло, но мне себя не заставить. Долго стоять и курить здесь нельзя – ну сигарету, не больше. «Что-то не так...» – это ноет во мне, и никому здесь не скажешь. Раньше когда-то я все принимал, теперь я вижу все со стороны – все, как цветы на поляне. Все в его малом уперто. Синее облако в зале. Через стекло музыка пилит мне нервы. Там скоро будут давать шашлыки, я повернулся, пошел, но не в зал, а, огибая его, в задний двор – где, может быть, будет тише.

Двор – блеклый, длинный, обнесен забором, слева в конце его – тоже дощатый сарай и рядом – старая лодка. Но здесь, действительно, нет шума зала. Ноги устали, и хочется где-то присесть, но на ступенях из кухни нечисто. Двор чуть спускается к озеру... – и там, в конце, в стене забора – калитка. Гравий скрипит под ногой и ломает ступни через подошвы ботинок – кажется, что в спину выстрелят, и, в самом деле – рядом с калиткою, слева – мишень из бумаги вся в рваных ранах от пуль, и на заборе есть отщепы, дырки – значит, гостей забавляли стрельбою. Я открываю калитку – уже хорошо, вдалеке озеро, а по сухой пожелтевшей траве волнами катится ветер. Шаг на тропу – я вовне, и возделенное – возле забора скамейка. Но – если сесть за спиной будут дыры от пуль, вот только крови не видно – или же я буду первым у них, или стреляют в затылок. Сидеть почти расхотелось, но я присел – слишком все надоело.

Тропа шла к озеру – метров пятьсот, а по бокам от нее, вероятно – болото. Если свернуть с нее к соснам, то через сорок минут можно выйти к поселку, там должна быть электричка. Туфли, конечно, промокнут – угроблю, но, еще хуже – испорчу костюм, светлые брюки потом все будут в грязных разводах. Я сделал пару шагов по хрустящей траве... – ну тут еще интересней – ржавые, черные слои «колючки» в траве, вросшие в землю с войны – кто-то здесь оборонялся. Я так и вижу – лежу с пулеметом в траве, и гимнастерка на пузе промокла – сейчас они подойдут по прямой, а, может быть, выйдут справа. И тогда кину гранату. Но сзади выстрел в меня, и, значит, нужно ползти – нужно прижаться к забору... Я снова сел на скамью, навалился на доски, стал весь песчаной скульптурой. Все напряжения лица не мои и отвратительно чужды. Во мне обрывки от прошлого – бродят, они – как линии, они живые. Здесь уходить бесполезно. Мимо лица пролетают листы, и все – формат А4...

Я разбирал в воскресенье бумаги – три моих толстых бесформенных папки. И мне попались рисунки – еще лет десять назад я хотел сделать мозаику из мраморов и рисовал к ней наброски. Месяц тогда просидел за столом, мы даже съездили с ним в то кафе, но этот кадр, что заказ обещал, больше и не появился, у них такое не редкость. Листов – штук десять, все пожелтевшие, словно вобравшие грязь этих лет – и в руки взять неприятно. Все карандашные линии почти слились – где с мутным фоном, где между собой – что-то увидеть теперь было сложно. Вот если б я сделал все это в камне – мало того, что оно было бы в палево-мягких цветах мраморов, эти цвета б не тускнели.

Первым попался мне лист с головой – лицо, проросшее стеблями – через глаза, через уши и рот, и через темя, конечно. Лист – человек целиком – тело, проросшее всюду. Тоже, конечно, лишь в карандаше, но для себя я видел все это в цвете – красном, зеленом, бордовом, как, я считаю, и есть, в самом деле – через все центры оттенков сознания и чувств с их назначением по жизни. Сердце и пах, и желудок... – у каждой области тела есть свое стремление, что можно выразить цветом. Через все – стебли и щупальца одновременно – полупрозрачные реки и страны, где, как бактерии, кто-то живет, движется, дышит, смеется. Или то змеи, а может быть, пламя – как будто женские пальцы, они сиреневы, как аметист, и так же почти прозрачны (на них, как капли на кольцах – камни различного цвета). Когда ты смотришь на все их глазами – они огромны, в размер человека, ну а ты сам – полутень. Они имеют свои сроки жизни. Все это переплетается, тонет – одно в другом и в окружающем странном пространстве. Что-то вползает вовнутрь, а что-то рвется наружу – хочет найти продолженье себя или пищу. Но оно

делает все для себя и никогда для другого. От человека осталось немного – только обрывки от малых пространств, куда те стебли не шли – вот пустота за скулой, вот – как пятно что-то возле затылка. Где-то внутри в глубине островок, где горит слабая свечка, кто-то оттуда выходит – длинная тень легла на пол. Эти участки везде бесполезны, и потому оседает в них горе, сам человек их не любит. Может быть, что он притом на кресте, и с него смотрит на прочих таких же. Может быть, бабочка возле ноги – среди травы и цветов ищет лишь ей нужный запах. На ее крыльях узоры. По краям крыльев у бабочки – профили лиц – взгляды обоих, мужчины и женщины, почти пусты, так как внимание их ушло назад, чтобы там видеть друг друга. Но она скоро засохнет...

Чуть мрачновато по смыслу, но было б красиво, и оказалось ненужным. Потом зашел в то кафе – маслом написан был заяц с морковкой – так они видят их стену. Ну и дешевле, конечно.

Вокруг прозрачные разные лица, при этом все они – я. Они себе заполняют все цветом и светом, но этот цвет – акварель на бумаге, а свет – пугающе-душный...

Чем глубже сон, тем больше кажется, что он – реальность. Прошло всего, может быть, полчаса – они, наверное, поев горячего, наконец, вышли на воздух. Сзади раздался пугающий гром – я втянул голову в плечи. Но, нет, они не стреляли... Еще удар, и опять по мозгам – крик, улюлюканье, визги. Я уже понял, привстал, посмотрел – у них салют, фейерверки. Снова удар об удар – снова грохот, им не живется спокойно. На их масштабе все ярко блестит, на моем – блески на сером. Я на какой-то границе. Область большой тишины много шире. Серость, как будто открытая дверь, но мало кто это знает. Вокруг сухая трава, и мой костюм ей под цвет, и только черной футболкой под ним я от травы отличаюсь. И цвет стены ресторана такой же, и, как зрачки, так же – окна. Над гривкой леса вдали серое совсем сгустилось – там, видно, чуть моросит, но, все же, дождь уйдет вправо. Блеклое желтое в сером.

Десятилетия – просто дыра, место падения в странность. Медленно, почти застыло. Себе подобно и однообразно. Множества чисто формальны – все в них похоже. Да и они размываются, если взглядеться – они становятся частью иных и там теряют значенье. И так – пока все сольется, а это слитное – точка. Так вроде бы очевидно, но только это сознание требует чуть-чуть усилий, если без них – наползает чужое.

Как будто бы перед мембраной и после нее все, и давление, сравнялось. И можно вывернуть, кто я – я-пустота, это всюду. Все, будто в формуле, в этом. «Есть» лишь «три нет». Нет «моих» мыслей, что есть – не мои, просто они идут мимо. Нету и слов, и, может быть, я говорить разучился, ведь говорить больше не о чем, не с кем. И нет желаний, совсем – все теперь неинтересно. Меня ничто не цепляет. Все в равной степени просто. Что это – уже маразм, или еще все же взрослость? Но, правда, есть отношения – так все явления, людей я стал теперь видеть четче, причем почти без иллюзий.

7. Река и кошка

Я не все помню – как оказался сейчас на реке, или откуда я знаю, как это выглядит все с вертолета – сверху все смотрится малость иначе – вода, к примеру, похожа на серый металл – блеск режет зренье. Памяти нет, она где-то внутри – слабо шуршит, что-то хочет, но ей никак не пройти через толщу меня, как не подняться песку на поверхность. Я почему-то не вижу, на чем я плыву, да и при том не пытаюсь. Вода настолько прозрачна, что мне видно дно, хотя, я знаю, его не достанешь. Я иногда смотрю вниз, кажется, что я увижу на дне городá, но вместо них только галька. Можно набрать в ладонь воду, но все равно утекает. Это большая долина, кругом острова – плоские, в зарослях ив и черемух. На середину я плыть не хочу – меня от берега и не уносит. Мое плавсредство порой развернет, только назад я смотреть не люблю, и тогда гляжу на небо – на облака и на ветер, но только кожа его не ощущает. Не ощущает она

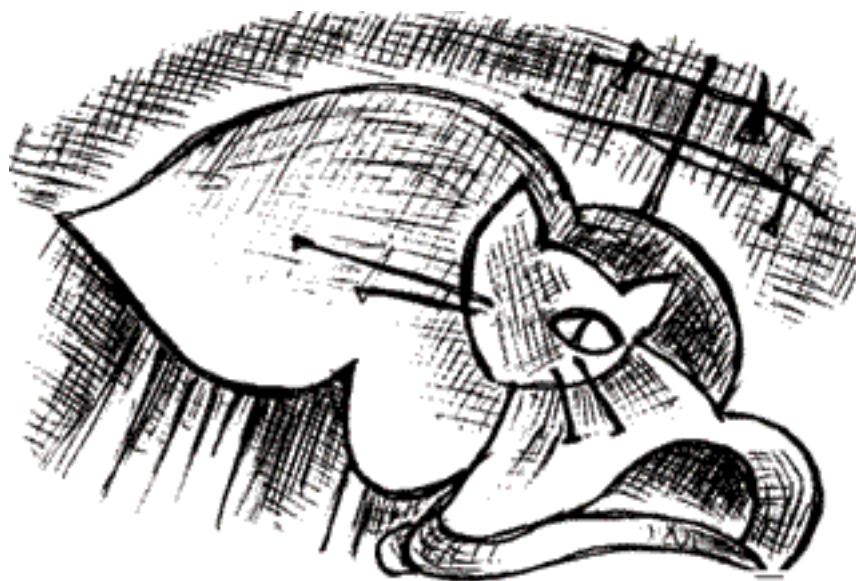
и тепла от бледно-желтого солнца. Потом опять развернет меня вперед лицом – но горизонт слишком близок. Потом возникли и скалы, как будто это дома, вдруг встали сбоку.

Все-таки тучи пришли и сюда – я наблюдал глухой фронт, наползавший с востока – он гасил небо. Я или двигаюсь, или застыл в темном тоннеле пространства. В зарослях по берегам стали теперь появляться и сосны. На галечной косе я вышел. Вода текла, ну а воздух стоял, и шорох камешков из-под сапог как будто бы зависал в нем. Я втащил лодку на берег и пошел к деревьям – пришлось взобраться наверх, на обрывистый склон через высокие стебли крапивы. Здесь, на поляне, трава была низкой, и стало видно дорогу на холм под навес веток. Стоило только войти в этот странный проход, как стало тесно и душно – зелень меня обступила, накрыла. Хотя дорога-аллея была и красивой, но идти вверх не хотелось – там дальше будут поля и леса, будут другие дороги – ну а дрова можно набрать и здесь. Однако стоило только войти вглубь, в кусты, оттуда выскочил крупный баран, весь грязно-серый и толстый, и, закричав, припустил вправо в лес – я проводил его взглядом. В каждом есть доля безумия, есть и во мне – я извернулся, поймал сам свой хвост, и он виляет моей головой – и я бы даже его отпустил, но не хочу чтобы стало как прежде. Костер пришлось пару раз раздувать, только потом можно было сидеть и глядеть, как закипает вода, и шевелить в огне палкой.

Вот прилетела прелестная птичка и села на баллон лодки, пришлось махнуть, чтоб она улетала, чтоб не смывать потом белых подтеков. Вода вскипела, я съел Доширак и обнаружил, что почти стемнело. Костер лежал возле ног почти белый от пепла – сумерки, все наползая, давили, и он почти уже сдался. Туман скользил по реке, поднимался наверх, но, не достигнув и метра, он таял.

Под черной тучей стемнело. Туча имела свою глубину из темно-серого с синим свечений. И, неожиданно, в ней заиграли зарницы. Вот внутри черного у горизонта все вдруг окрасилось белым, потом сиренево-красным – где-то мучительно ярко, а где-то, – почти пастельно. Ни звука грома, одна тишина – как будто все онемело. И снова – синяя вспышка, переходящая вдруг в анемично-лиловый. Будто эмоции – кажется, я их испытывал в жизни. Как будто звук, что-то тихо гудящее рядом, или же наоборот – как будто бы тишина где-то стала совсем уже плотной. Я сунул руку в рюкзак и, отщипнув кусок хлеба, бросил его метра на три. Тишина чуть изменилась, ну а «явление народу» возникло минут через пять – кто-то, по-моему крыска, выйдя из ночи, приблизился к хлебу. Светлое пятнышко хлеба исчезло за слабым шорохом гальки. Пора плыть в озеро, дальше – там, если сделать ошибку, уже до берега не доплывешь, и даже до дна – «дыхалки не хватит».

Ну и зачем я подумал... Я поднимаюсь и делаю три слабых шага, чтобы отдернуть к углам обе шторы. Мир облепил меня со всех сторон. Белая кошка сидит около двух подоконных лимонов, среди белесости света, она не хочет, чтоб я ее гладил сейчас, и очень слабо кусает, только потом уже смотрит. Глаза алмазно-наивны. И один глаз – голубой, с треугольным зрачком, другой – с растянутым вверх, бледно-желтый. (Просто «Анютины глазки»; что ж то была за Анюта?) Что она видит при том – не понять, оптика совсем иная. И подлетает на форточку, чтоб погулять перед марлей в прохладе. А за окном возле дерева ходит ворона... Ну не люблю я собачек с их местечковым подходом. Все кошки – ангелы, точно. Она всегда уважает меня, и, значит, я уважаю ту кошку. Я отхожу от окна и сажусь в ставшее видимым кресло. Пока от кофе извилины не распрямились, что-то внутри копошится – о всем вчерашне-сегодняшнем-завтра. И кошка тоже пришла, как будто тряпка легла на колени.



Амид Ларби

г. Монпелье (Франция)



Журналист и поэт, родился в Алжире. Член Европейской академии наук, искусств и литературы (ЕАНИЛ). Автор литературных эссе и поэтических сборников, которые переведены на испанский, итальянский и русский языки. Лауреат премии журналистской ассоциации Милана *Giornalisti Estera* (1995). Победитель Международного конкурса поэзии *L'Amour de la liberté*.

Стихи переведены с французского Анной Залевской.

Из интервью с автором:

Поэзия исходит из глубин человеческой души и стремится согреть нашу реальность, привести в нее лирику. Магия слов похожа на проблески рассвета, скользящие по морской глади, на которой качается лодка, окутанная сплетением ароматов, бегущих от романтики до экстаза...

* * *

Тишина
И дерево
В дымке
Мгновенье застыло на взлете

Бархат поля открылся
Для ретуши алой заре
И проблеску солнца
Под сенью небесной
Камень застыл бессловесно
Терзает безмолвия бездна
И дремота рассвета
Их тишь я собрал для тебя
Забирай ее
В знойный рай
Рук своих
Я с тобой в тишине
В ней одной
Нежный шепот
И робость желанья
Без пафосных слов
Тишину заполняет восторг
Замирает душа
Дрожью каждой струны, чуть дыша.

* * *

Мой рай будоражит
Сияние
Лица, что ум не осилит,
А глаз не увидит
Жажда жизни
Вернула мне голос
Насытив слова
Пришедшим с утра озареньем
Время играет в сложение
Жизней, вёсны ушли
Но душу питает надежда
Дни будут светлы
Злу нет места.

* * *

Я в смятении
Всюду низость
Сознание зашло в тупик
Реальность сбилась
В мрачный крик
Что будет завтра? Неизвестно
Сбежала мудрость
В темный мир
Где шизофреник – командир
Где заблужденье – норма
Клад знаний в мелочь обратив

Утратив ориентиры
Канон, величие души
Зачахли – больше не нужны
И только древняя маслина —
Мерцающий мосток
Соединяет Запад и Восток

* * *

Тоска дрожащей нитью...
Жизнь потревожена
Обрывком мысли
С собой бы совладать
Подметить, различить и разгадать
Не цепенеть под взглядом
Придумывать, изобретать
Сорваться за пределы
Почувствовать тепло несмелой
Руки у своего лица
Но больше нет желанья
Вновь пустыня
На горизонте пустота
И ветер стынет.

* * *

Одно слово —
И человек говорит
Одно слово —
И человек молчит
Хотя слово
Говорить не умеет
Слово молчать не умеет
Вот бы очистить прошлое
Когда люди человеческий облик теряли
Вот бы очистить нынешность
О будущем и прошлом люди...
...забывают
Когда мы начнем говорить
Помня – не сегодня единым нам жить?

* * *

Не будь это столь нелепо
За пределами всё и вся
Чудесно
Бесконечно долгое эхо
Ввысь прямая стезя

В Абсолют
Не будь это столь нелепо
Не нужно огонь зажигать —
Ему бы навек вспылать
А судьбе застыть навеки
Не будь это столь нелепо
Пусть будет начало всего
Но и тогда пустое ничто
Оставаясь предметом сомнений
Порхая в пространстве
Сумеет пробраться
Сквозь завтрашний день.

* * *

Мои иллюзии эскизны
Чистейшие мелодии немые
Как будто облака обнажены
Бегу от настоящего
Ни слова никому о том, где я
Мне напросилась желчь в друзья
Изранен разум, тело неприкаяно
И всюду вакуум, обет молчания
Смятение проявится под утро, позже
От осознания, что пусто ложе
Призывом зазвучат стихи —
Попутчики
Рутины дней моих
В пустыне из сомнений
Чтоб сделать муки драгоценные мои
Приятным времяпровождением.

* * *

Уходили мысли, ускользали
Полусомкнуты веки
Их укрывали
Нежностью грудь наполняя
Вдох извечной надежды из нее вырывая
Свет освещал
Грустный взгляд
С лица словно маску сорвали
Я чувствовал легкий озноб
Будто в ступоре вязком
В моменты тревог тишина
Меня под защиту брала
Утоляя печали
Уступая место
Мечтам.

* * *

Я шагаю вдоль берега
Ветер, ненастье – неважно
Я шагаю вдоль памяти
Распроставшейся с властью
Тревожно Средиземное море
Ветер коллизий и милости
Отголоски сказаний
Историй, безумий
Средиземноморья
Герои и схватки
Нации, фракции
Цивилизации
Средь океанов, морей
Многоликое море
Страстных стихов
И культур колыбель
О нас его сны
Иллюзии, думы, мечты...

* * *

Я чувствую нежность
Заката на острых волнах
Разума дерзость
В сумерках ярче. Видна
Мне вселенная моря
Вся без утаек, как на ладони
Момент ускользает
Сквозь тишину
В легкого блюза неволю
В исполнении дивного моря
И далекой земли.
Распевом слова
В гармонии, неге дрожат
Закатным лучом на парус сошла
Арабеска
Мистралем подхвачена дерзко.

* * *

Я убегаю
В закоулки памяти
В мгновений ярких свет
Где актуально прошлое
Где будущего нет

Где карты настоящего
Разложены едва,
Трамбует время годы
Побеги сумасбродные
Сводя меня с ума

* * *

Неземной поцелуй
Пленительный мощный
Ток
Облаков очертанья
Присевших на райский чертог
Грациозность и легкость
Капризность и вздох
Возмущения, что испарится
Неземной поцелуй
Пленительный мощный
Ток
Облаков очертанья
Присевших на райский чертог
Грациозность и легкость
Капризность и вздох
Возмущения, что испарится
Роман, как сладостный дым
Но жажда любви утолится
Поцелуем другим.

* * *

Душевная тонкость
В чувственность
Прорастает
Пленяет
Пламенный трепет
Слов не осталось – афазия
Перед лицом эпатажа – апатия
В жажде любви отказано
Судьба – предсказана
Иллюзиям вход воспрещен
В эту страсть запретную
Безрассудную
Безответную
Иллюзорную
Непритворную

* * *

Волна на скорости
Разум в бодрости
И существо без тени
В аллегоричное время
Идеально созвучие случая
На перепутье фонем
Я иду по наитию
Оголенной вселенной
Лишенной одежды
И слов.

* * *

Сладко звучит афоризм —
Отшлифованы грани
В изможденье язык
С дилетантством на поле брани
Утратила мысль инстинкт
И трансцендент умозрений
Грядет новый цикл
И отрезвление

Евгений Скрипин

г. Барнаул



Автор книг: «Опыт неудач», «Рожки дьявола», «Поэты без иллюзий». Родился в Джеккагане (Казахстан). Образование – Алтайский государственный университет, филология. Работал в краевых и городских газетах, в двух из них – главным редактором.

Из интервью с автором:

Писать всерьез начал со знаменитого дефолта 1998 года. Не было работы, зато появилось время. Написал роман «Джизнь Турубарова». С тех пор мои личные удачи напрямую связаны с экономическими кризисами. Все разговоры о том, что читатели в России кончились, считаю глупостью. Просто надо писать хорошо, меньше бояться, и люди к тебе потянутся.

Не раб

Я – Бог, каждое утро я давя на клавишу «Создать». Блаженство писать несколько часов подряд, и еще большее блаженство перечитать потом несколько раз. Каким же веселым и довольным должен быть Господь, глядя сверху на нашу мешанину!

Я пил четвертый стакан кофе, когда с кухни сквозь стекло балконной двери мне помахала еще не вполне одетая жена. Была суббота, в субботу она вставала поздно. Скоро на кухне загремели сковородки. Дом оживал и наполнялся смыслом. Запах блинов проникал на балкон и вытеснял и обесценивал мои смыслы.

Начавшаяся запахом блинов суббота неожиданно продолжилась звонком на мой мобильный. Мне уже давно никто не звонит, с тех пор как я потерял работу. Звоню я, и тоже редко, только по делу, в поисках работы, потому что на мобильном почти никогда нет денег.

– Так ты идешь, или нет? – сказал голос в трубке, я узнал по голосу Федора и вспомнил, что я обещал сегодня поехать с Федором на кладбище. Я посмотрел через стекло на кухню. Вероятно, у жены имелись свои планы на мою субботу.

– Чё молчишь? – сказал голос.

Я молчал, потому что не успел придумать отговорки. Ехать на кладбище мне было неохота.

– Это... – сказал я. – Я еще не знаю.

– Ну, смотри, – буднично сказал Федор. Я думал, будет уговаривать поехать. Но он не стал уговаривать. – Звони, если что. Я буду там.

Мне стало стыдно перед будничным Федором. Видимо, никто из собиравшихся поехать не поехал.

– Ты там один, что ли? – сказал я.

– Да.

– Галкина же точно обещала?!

– Говорит, дежурство.

– Ясно. Если что, я позвоню.

– Звони.

Я не спросил у Федора, как ехать на кладбище, и он, конечно, понял, что я тоже не поеду. Сволочь Галкина...

Жена неожиданно легко согласилась, что мне надо съездить. Забыл сказать, сказал я, что обещал съездить. Помнишь же Дашкина? Здоровый такой, из отдела писем.

Я набрал Федора. Спросил, как ехать, на какое кладбище. Федор заметно оживился:

– Сядешь на вокзале. Доедешь до Власихинского кладбища. Я тебя встречу у часовни, это в центре.

Я не знал, как правильно поставить ударение в названии кладбища (в трубке оно звучало как-то без акцента) и рассчитывал, что знающие люди меня, если что, поправят.

Народ-языкотворец отвечал и так, и этак. Как проехать на Власихинское кладбище, спрашивал я у группы мужиков на остановке. «На Власихинское?» – переспрашивали меня. На Власихинское, говорил я в другой группе, бабушке и внукам. «На Власихинское...», – говорила бабушка и задумывалась. Побегав по привокзальной площади, я все-таки вышел к нужной остановке, она оказалась на проспекте.

Желтый автобус привез меня к кладбищу. Это было старое кладбище в черте города, здесь давно не хоронили, только выдающихся людей и родственников ранее похороненных. Как обычно на кладбище, здесь было солнечно и грустно. С фотографий на постаментах, начинавшихся от самых ворот, равнодушно смотрели покойники. Солнце на кладбищах всегда усталое, как будто иссякающее, бабушкино. Не как в городе. Я пошел по аллее к кирпичной часовне, крест которой и луковка сияли на солнце.

У часовни ко мне подошла русская старушка, прошамкала что-то, профессионально, как цыганка. Я отдал ей мелочь. Жена дала денег на дорогу, туда и обратно, но в автобусе с меня неожиданно взяли не десять, а тринадцать рублей, и оставшихся все равно бы ни на что не хватило. Старушка меня перекрестила.

В ожидании Федора я походил, не удаляясь от часовни, вдоль могил. Здесь, в центре, хоронили самых выдающихся людей. «Заместитель председателя облисполкома» прочитал я. Из зеленого гранита выступала суконная морда бюрократа. Поражал размер мемориала. Это было ненормально.

Из боковой аллеи вышел Федор, пожал руку. «Заглянул к отцу, – сказал он. – Он тут рядом». «Власихинское или Власихинское?» – сказал я. Федор пожал плечами, ему это было безразлично.

Маленький, похожий на еврея Хохол Федор продирался по заросшим репьем и кустарником дорожкам. Чуть в сторону от центра кладбище казалось полностью заброшенным. Ограды покосились, почернели, кресты завалились, внутри на могилах стоял в пояс выросший бурьян. Тропинки, по которым мы двигались в сторону могилы Дашкина, перегораживали сети старой паутины. Федор в итоге заблудился, но, покругив, все же вышел к цели.

Дашкин умер от рака. Это был здоровый, похожий на бывшего боксера или тяжелоатлета сорокапятилетний мужчина. У него была жена актриса. Много ли вы знаете мужчин, жены которых играют в театре? А мы работали рядом с ним, похожим на штангиста, на Юрия Власова какого-то – такой же хряк и интеллектурал. В очках на мощной голове.

Он очень не любил давать займы и никогда не давал закурить. Не из жадности, а из презрения к нам, джентльменам в поиске десятки. Когда он внезапно заболел и прошел курс химиотерапии, я не узнал его, ковыряющего ключом в скважине замка своего кабинета, и только по голосу определил, кто он. «Заходи», – распахнул он дверь. Он неплохо ко мне относился, выделял, как мне казалось, из других. Высохший, как мумия, и все же водянистый, он сел на стул и бросил на стол пачку сигарет: «Закуривай, чего!»

– Здравствуй, Сергеич, – сказал Федор. Я не очень понимал заботу Федора о Дашкине, не такими уж они были друзьями. У штангиста не было друзей. Его друзьями, как у его тетки Пушкина, похоже, были книги. Его огромную библиотеку, которую он никому не показывал, мы увидели только на поминках. (Странно, что я не запомнил жену Дашкина, актрису, а ведь должен быть запомнить!)

– А где сейчас его жена? – сказал я.

– В Ленинграде. Там есть специальный дом для престарелых. Богдельня для нищих актеров.

Мы были как бы три поколения, с разницей в 10–15 лет. Я посмотрел на дату дашкин-ского дня рождения. Выходило, что ему сейчас было бы семьдесят. Старик. Наша задача была – выкрасить железную ограду.

Краска оказалась жидкой, Хохол Федор явно сэкономил. Я подумал, что придется красить на два раза. Мы бы долго терли кисточками ржавое железо, если бы мне не пришло в голову, что краску в банке следует элементарно размешать. Хреновые мы были с Федором работники.

Дело заспорилось. Разлив краску по банкам, мы с Федором пошли периметром оградки, изредка поглядывая друг на друга. Что-то вроде соревнования, кто гуще, кто быстрее.

Разговор наш был необязательным, мы лениво перекидывались фразами, а между ними были целые периоды молчания. В один из таких периодов я подумал, что, может быть, я сейчас проживаю свой лучший период в жизни. Как знать? За время безработицы я создал несколько рассказов, повесть, дописал роман.

Другое дело, что эта моя работа была для себя, то есть она не приносила денег, и было ясно, не могла их принести. Всего понятнее это было моим родным. Через полгода они стали смотреть на меня как на больного. Которого, конечно, жаль, но – сколько можно! Шутки мои уже не проходили, юмор им казался неуместным.

То же я мог прочесть в глазах знакомых, уцелевших на своих работах. А мне казалось, это я их должен пожалеть.

– Как у тебя с работой? – сказал Федор, словно подсмотревший мои мысли.

Я вяло махнул. Он прекрасно знал, как у меня с работой. Пару недель назад сорвалась как будто уже обещанная мне железная работа. Я уже разговаривал с директором организации,

которой пофиг был мировой кризис. Но что-то опять не срослось. Я занервничал, названивал в контору, пока не надоел директору, и он указал мне мое место. «Вам позвонят, – сказал он, – при любом решении вопроса. У вас появились конкуренты». Черт с ней, с работой, решил я. Я – Бог...

Начало припекать. Федор снял кепку, обнажив хохол. За этот хохол его и звали Хохлом, а не за принадлежность к украинской нации. Мы чуть не поссорились недавно, старые приятели, когда зашла речь о Хохле, который слег в больницу, и мы собирались его навестить. Генка, один из нас, сказал, что он слышать не хочет о Хохле, с которым он не сядет на одном гектаре.

– Не знаю, – сказал Николай, старший из нас. – Кто-то где-то что-то сказал... Хочешь об этом разговаривать – валяй, но без меня.

Интересно было посмотреть на нас со стороны. Объективно все мы были уже старые (хуже – мы были пожилые). Кое-кто был седой, кое-кто – лысый. Не говоря о странгуляционных линиях на шеях. Впрочем, если смотреть не объективно, не со стороны, легко было в каждом из нас узнать мальчишку из того мальчишника конца восьмидесятых, который собрал перед свадьбой Николай.

На другой день мы с ним поехали к Хохлу.

– ...Сын его тоже в Ленинграде, – сказал Федор.

Он уже дважды назвал Санкт-Петербург Ленинградом, очевидно не задумываясь. Не придавая этому значения.

– Это который сын? – сказал я. – Тот, про которого он говорил, что – одна судорога, а потом восемнадцать лет приходится платить?

Хохол отложил кисточку. Пошарил в сумке и выставил водку, неправдоподобно маленькую емкость.

– Нет, он говорил не так, – сказал Хохол. – Пять секунд удовольствия, а платишь восемнадцать лет.

Докрасив, с легким сердцем, будто выполнив ненужную, но важную работу, двинули на выход с кладбища. Решено было еще выпить, глупо было бы еще не выпить. Скупой сначала, Федор становился расточительным потом.

Мы шли по ровной земляной дороге, мимо свалки. Свалка дымилась, ее разгребал, утюжил трактор.

– Сдохну, хоронить меня придешь? – сказал Федор.

Я, чтобы не сглазить, не стал говорить обычное, что неизвестно, кто... А вдруг – правда, подумал я. Где они, к примеру, возьмут фотографию на памятник? Уже лет десять я не делал новых снимков. На старых я был неприлично молодой. Кто, вообще, возьмется хоронить, если я безработный, человек без организации?

Скоро мы шли обратно к кладбищу. Другого места, где можно спокойно выпить, не нашлось.

Федор привел меня к дыре в заборе. Мы расположились на лужайке, как бы еще не на кладбище, а рядом. Место, закрытое от чужих глаз кустарником, явно было насиженным, вокруг валялись пустые бутылки и пакеты. Я бы не удивился, обнаружив в траве и презервативы.

Выходило, что Хохлу сейчас хуже, чем мне. Я еще мог найти работу, он уже не мог. Разговор вертелся вокруг поисков работы. Хохол плохо старел. От энергичного, тридцатилетней давности Хохла в нем не осталось ничего.

Федор дал денег на автобус и ушел вглубь кладбища. Я пошел к остановочному павильону.

Остановка была сверху донизу расписана матерной бранью и изображениями гениталий.

Мне вспомнился Гоген. (Или Ван Гог? Это всегда как будто один человек. Нет, все-таки Гоген. Ван Гог – это который ухо, Гоген – Океания, туземцы.) Великий и ужасный Польш. А не уехай он на Острова? Так бы и умер жалким воскресным художником, ничтожным клерком.

Я завернул за угол павильона и с размаху выбросил в бурьян пакет с остатками хлеба и колбасы. Ну его, Власихинское (или все-таки Власихинское?) кладбище.

Через день, рано утром в понедельник, зазвонил мобильный, и мне предложили срочно, через час явиться на работу.

– Если вы, конечно, не раздумали, – сказал директор.

Через полтора часа я бегал по забитым людьми коридорам поликлиники и собирал справки, подтверждающие мою полноценность. А вечером того же понедельника ехал в купе скорого поезда в большой промышленный сибирский город, где находилось головное учреждение организации. Во вторник в головной конторе начинался семинар для вот таких, как я.

Если вы думаете, что я тут ловко подверстал под свой рассказ мораль (поездка через не хочу на кладбище, мелочь старушке... Есть Бог! и Он все видит), то это не так. Во-первых, все, о чем я рассказал – чистая правда, ничего я не подверстывал.

А во-вторых...

Утром в больничном коридоре, дожидаясь очереди к окулисту, я обратил внимание на карточку, которую мне выдали внизу, в регистратуре. На титульной странице, крупно, было выведено шариковой ручкой в строке, следующей сразу за фамилией: НЕ РАБ. Новую карточку мне оформляли, когда я пришел сюда с простудой, безработным, с полисом, полученным на бирже.

Надпись безнадежно устарела. С понедельника я уже был на службе. РАБ. При чем тут Бог?

Холодней, чем лед

*Никогда не делай ничего,
Кроме дела, кроме дела одного.*

Уинстон Блейк

Случайный свидетель, им оказался кассир ООО «Калигула Плюс» Петр Четвериков, видел, как мужик на той стороне перекрестка, когда загорелся зеленый, вместо того чтобы пойти по переходу неожиданно попер, выкидывая ноги, по диагонали прямо на проезжую часть, куда хлынули машины. Минуту назад Петр, отличавшийся отменным зрением, наблюдал за мужиком, который был как будто не в себе, хотя и выглядел трезвым. У мужика были четко прорисованные губы червонного валета, детревильская мушкетерская борода и разделявшиеся надвое над невысоким лбом длинные волосы. Шапки на нем не было. Прямой нос и брови как бы составляли одно целое и были похожи на галочку или схематично нарисованную птицу. А глаза – они и вызвали у Петра любопытство – обращали на себя внимание застывшим в них не то ужасом, не то горем. Э, подумал любопытный кассир, что-то тут неладно.

И когда человек с безумным взглядом рванул на шоссе, Петр непроизвольно дернулся к нему и заорал: «Ты чё, мужик?!». Но было поздно.

Темнота после серой, но насквозь прозрачной февральской стеклянной улицы обволокла меня, наполнила вдруг все пространство на бессчетное количество миль или километров (почему-то так подумалось: миль или километров). Я испытал сильный страх – не столько от темноты, в которой все-таки мелькали, просвистывали мимо с запредельной скоростью крас-

ные точки, сколько от ощущения, что я стою вниз головой. Проверить это было никак невозможно – ни верха, ни низа не было. Не разобравшись в своих ощущениях, я тотчас понял, что уже видел все это.

Вот так же я однажды застыл на веранде загородного дома. Мне было семь лет. Родители ушли в сад обрывать малину, я слышал их смех и намеревался присоединиться к ним, как вдруг что-то заставило меня остановиться. Я замер, с кружкой в руке, на залитых солнцем досках. Сердце уколола острая тоска от невозможности вспомнить, где и когда это со мной было, а оно, несомненно, было – так же я бежал через веранду в сад с желтой эмалированной кружкой в руке, так же хохотали за открытыми дверьми в саду мама и папа, такой же пузатый комод стоял у стены и такое же, в раме, висело зеркало. Но я-то точно знал, что ничего этого со мною раньше не было!

Я постоял мгновенье у комода, проплыло и сгнуло воспоминание, и я побежал, маленький дурачок, к отцу и маме, шлепая сандалиями. Но уже никогда не мог забыть это.

Объяснить это я не мог ни тогда, ни потом. Никто не мог! При этом, Боже упаси, я не отказывал святым в их святости, а великим романистам и ученым – в умении создавать шедевры и убедительные философские трактаты. Разве не велик Кант с его нравственным законом внутри нас и звездным небом над головой? И разве не проглядывает вечность в стихах Данте и Уитмена?!

Но я ждал от великих другого. Мне мало было вечности в художественных образах и между строк. Я хотел получить прямой ответ, что там – за пределами реальности. Ведь они же заглянули за пределы, несомненно. Это было ясно. Что они там увидели? Почему ни один не рассказал, как это было? Претензий к художникам у меня не было – эти вели себя скромно и, если и знали что-то, то только посмеивались в усы над крикливыми собратьями.

Особенно же меня раздражали эзотерики. Эти были похожи на нормальных людей, но впоследствии оказывались жуликами. Хуже святых. Те ни на что особенное не претендовали. Хочешь – садись рядом, камлай. Не хочешь – иди мимо. Эзотерические школы обещали многое. Растолковывали темные места Писания, будто похлопывая по плечу святых. Или легко, на пальцах разъясняли сложные законы физики и геометрии, в которых сами физики и геометры ничего не понимали. Но как только дело доходило до личного опыта, умные эзотерики глупели и сдувались. Ноль личного опыта.

Только эмоции, только беспомощные образы. Только – об ужасе, испытанном при столкновении с иной реальностью, или о некоей благодати, разлившейся в пространстве и во времени. Черт возьми, почему не рассказать толком об этом ужасе или об этой благодати! Как дело было. Ничего же более не требуется.

Я имел право предъявить претензии. Дело в том, что у меня был опыт обращения с другой реальностью.

Мой английский, немецкий и испанский позволили мне сразу после университета получить место в крупной зерноперерабатывающей фирме. Работы было много – колесо обычной офисной работы. Для себя я переводил стихи сэра Уинстона Блейка и почитывал, все реже, подворачивающиеся под руку трактаты философов и богословов. Но неожиданно компания, имеющая партнеров на трех континентах, разорилась. Она не была закрыта, но было понятно, что ее прихлопнут. Многие наши начали подыскивать работу. В это же время я увлекся Бёме.

Якоб Бёме ушел в рай в немецком местечке Гёрлице в 1624 году. Это были его последние слова: «Nun fahre ich ins Paradies». До этого как минимум один раз, в 1600 году, он пережил мистическое озарение, сделавшее его впоследствии философом. Именно это меня заинтриговало.

Прочитав несколько книг Бёме по-русски, я обратился к оригиналам. Читать его тяжело. Бывшему пастуху и сапожнику и так не хватало грамотёшки, а он еще нарочно прятал смысл за запутанные образы. Искать в текстах Бёме логику бессмысленно. Брать его надо целиком.

Забегая вперед и осмысливая случившееся, я могу сказать, что необычные явления пришли ко мне не до, а после того, как моя работа с Бёме вышла на хороший уровень. Когда я уже схватил нить, которую мне предстояло распутать, и двигался дальше, отдавая работе все время и силы.

У нас почти не знают Тевтонского философа, как называют Бёме образованные немцы: то есть первого германского философа. Так у нас Пушкина считают первым поэтом. Три или четыре книги Бёме, которые сейчас переведены на русский язык, не дают о нем никакого представления. Дело в том, что в текстах Бёме тело языка и тело мысли – по его терминологии – составляют одно целое, с которым ты способен, вместе со своим телом, проникнуть в дыру, чтобы вынырнуть в Непознанном.

Впрочем, об этом можно прочесть в любом предисловии к Бёме. Разве что менее понятными словами. Но одно дело прочесть, другое – проникнуть в дыру. Оказалось, для этого важно, как звучит слово, сколько их во фразе, как они выглядят – вплоть до насечек шрифта. Вот за эту адскую работу я и взялся в тощие для зерновой компании годы.

Мне никто не мешал. Родители мои к тому времени разошлись и разъехались, я жил один. Коридоры фирмы опустели. Редко ко мне подходили выжившие менеджеры, я переводил бумаги, и про меня снова забывали.

Я далеко продвинулся. Бёме видел все то же самое, что видели другие люди, но под особым, что ли, углом зрения. В первый раз он всего лишь обратил внимание на отражение луча солнца на темном оловянном кувшине. Однако этого хватило, чтобы сапожнику открылись тайны бытия. Ошеломленный, он вышел на улицу, думая, что иллюзия исчезнет. Но трава, каменный колодец, весь мир выглядели как-то по-особенному ярко, раскрываясь перед Бёме неведомыми прежде гранями. Все было ясно, от начала до конца. Есть от чего схватиться за перо!

О, я прекрасно понимал Бёме. Ничего более необыкновенного, чем прорастающий в другое измерение куст в сквере башни у моей компании, я не знал никогда. Куст трепетал корабликами листьев. Преобладали узкие зеленые, но было много и багряных, желтых. Изумленный, я остановился. Куст делался громадным, выросал, вытягивался ввысь и во все стороны. Будто открылась трещина во времени. Я вдруг почувствовал, вернее сказать, понял, что он сейчас – главный во Вселенной. Он и есть Вселенная.

Была ясна его не простота и принадлежность к иной глубине, не имеющей как будто отношения вот к этой осени и вечеру (хотя и это все вплеталось в общую картину и имело несомненное – если не главное – значение). Причем сам куст был совершенно ни при чем. Дело было во мне.

Сильно испугавшись сначала (я, например, боялся луны, звезд: казалось, что каким-нибудь непостижимым образом я мог случайно, по незнанию, нарушить ход планет), я уже мало чего боялся потом. И если раньше я, случалось, сомневался, хватит ли мне сил, и надо ли мне расходовать их на гёрлицкого сумасшедшего, то теперь сомнения отпали.

Когда в переводе первой части «Утренней зари, или Авроры» была поставлена точка, мне понадобились слушатели.

Я пошел к университетскому приятелю. Оказалось, Костя давно не филолог, а сомелье, то есть пробователъ вин, в обязанности которого входит составлять линейку вин для пригласивших его заведений и рекомендовать вина клиентам. Ранее я не замечал таких способностей за Костей. «Жизнь научит», – сказал Костя. Костя не стал смотреть мой труд.

– Бёме, – сказал он. – Ебёме...

Другой мой друг, Илья, как оказалось, находился под воздействием некой методологии. Спасения мира. Он был увлекающимся человеком, и в разные периоды своей жизни прошел ряд увлечений: метод дыхания по Бутейко, мировой масонский заговор, способ бросания

курить по Карру... Илья из вежливости полистал мой труд. Занятно. Но не нужно. Это только отвлекает от борьбы. Мне пришлось выпить три или четыре чашки кофе, слушая Илью.

Показывать свою работу попáм я не стал. Помня, что некто Кульман, в XVII веке приехавший в Москву пропагандировать идеи Бёме, был по указу царя сожжен на костре. Это как раз было время Аввакума, который, годом позже, также был сожжен. Горячее было время.

Неожиданных сообщников я нашел в женщинах. Две девушки, меня друг друга, приходили ко мне. С одной мы жили по соседству и были знакомы с детства, с другой работали в зерновой фирме. Зная, что они придут, в определенный вечер, я убирал на это время свои книжки. Но однажды та, что нравилась мне больше, поинтересовалась, чем я занимаюсь. Я рассказал. Идеи Бёме (хотя их теперь скорее следовало называть моими) пришлось Татьяне, или она притворилась, в пору. Вторая, Света, также воодушевилась моей подпольной работой. Они, не зная друг о друге, выражали свое восхищение Бёме одними и теми же словами.

Думаю, впрочем, что если бы я не занимался Бёме, а собирал старинные кувшины, девушки точно так же восхищались бы посудой и, наслушавшись моих рассказов, терли бока у кувшинов, ожидая, когда вылетит джинн.

Я был уверен, что делаю все правильно. Но на каком-то этапе мне вдруг показалось, что я хожу, будто заблудившийся в лесу, по кругу.

Дело в том, что выхода, фактического выхода в желаемую сверхреальность, не было. Новые знания, конечно, были, но это были знания иного рода, чем те, которые я рассчитывал получить. Мне начало казаться, что я вновь попал в ловушку эзотериков.

Долгое время мне хватало впечатлений от событий в сквере. Но постепенно яркость впечатлений потускнела, я уже начал сомневаться, было ли это со мной вообще.

А Бёме?

Быть может, картина мира открылась ему не в сверхреальности, а лишь в его воображении? И ушел он не в рай, а был, как все, закопан на гёрлицком кладбище. В том его месте, где хоронят незнатных людей вроде сапожников...

Неожиданно в компанию вернулась жизнь. Вернулся шеф и объявил о полной, окончательной победе над врагами.

Оставшиеся верными конторе люди получили повышение. Я был приближен к шефу. Несколько раз мы съездили с ним за границу, я участвовал в переговорах. По просьбе босса я пошел учиться в университет на экономику. Усмехаясь, вспоминал я строчки из переведенной мной поэмы Уинстона Блейка.

Скоро я получил диплом экономиста, женился на Свете. У нас родилась дочь. Мы переехали на новую квартиру. Но мои приключения еще не кончились.

Выпадали дни, когда я понимал, что моя жизнь никчемна. Что ни хорошо оплачиваемой работой, ни твердым положением в обществе, ни даже благополучием жены и дочери я не могу ее оправдать.

Я выходил в сквер башни. Стоял и смотрел. До тех пор, пока не становилось стыдно. Идиот: стоит и пялится на чахлое растение!

То есть я продолжал думать о запредельности. Дело в том, что она не кажется не своей. Наоборот, ты понимаешь, что тебе недодают здесь, что мы живем в половинчатом, неверном мире.

Как я проклинал себя за трусость! Ведь однажды в ясный майский день мне снова показалась стеклянная бесконечность – это было рядом с домом, на старой квартире.

Я, жмурясь, вышел к остановке. Было воскресенье. Солнце. Почему-то не было людей, пустая улица. Я посмотрел вниз и почувствовал, как по рукам и по спине, прокалывая, побежал мороз мурашек. Время вдруг остановилось. Это было заметно по сгустившейся стеклянности вокруг белой высотки внизу и под старину сработанной торговой лавки. Время молочно покачивалось в глубине, будто маня к себе или, напротив, предостерегая. Я сделал шаг и встал.

Видение исчезло. По улице опять пошли машины, и захлопали дверьми купеческого магазина покупатель.

Теперь я знал, что если это вдруг вернется, я не раздумывая шагну в бесконечность. Однажды, только я поднялся к перекрестку, за которым находился новодел – торговый дом под старину, я вдруг почувствовал, что оно здесь. Сначала я увидел это по газете, которую с другим февральским мусором несло ветром. Газета неожиданно замедлила вращение и, не остановив движение, будто застряла, проворачиваясь с необычной скоростью. Ветра не стало, но она висела в воздухе. И сразу улица оделась в уже узнаваемый мною стеклянный свет. Вслед за газетой я шагнул в пустынное пространство перекрестка. Стеклянный воздух оказался неожиданно упруг. Я с трудом, с силой сделал несколько шагов. Предстаю, Господи, с трезвым умом и твердым намерением, – вспомнил я молитву из Бёме. И, как толчком в спину, меня толкнуло в темноту.

Странно, но я почувствовал, что со мной это уже было раньше. Красные огненные точки в темноте летели мимо. Почему так темно? – подумал я. И тотчас вспыхнул свет. Как будто высветлился в ночи небольшой – впрочем, с чем сравнивать? – экран. Странный пейзаж представился моим глазам.

Картина, несомненно, когда-то была живой: не плоской, не того рода, что мы видим в кино. Но она была мертвой – никакого движения не было. Я видел дом, заброшенное здание с провалами окон. Не ясно было, зима тут или другое время года. Но мне вдруг стало нестерпимо холодно.

Экран погас. И еще что-то промелькнуло в голове, остроугольное, что-то вроде предупреждающего знака в багровых тонах. В желто-багровых: «Не влезай, убьет!».

Кассир ООО «Калигула Плюс» Петр Четвериков видел, как мужика закрыла, шторкой, туша длинного междугородного автобуса, послышался удар, автобус развернуло и мгновенно в него и друг в друга начали врезаться и отскакивать автомобили. Четвериков набрал три цифры на мобильном телефоне, вызвал скорую, и побежал мимо машин и вылезавших из них водителей.

Мужик лежал на спине далеко на тротуаре. Кассир подошел ближе, наклонился. Глаза у мужика были открыты и смотрели, стеклянные, в небо. А лицо опадало, осыпалось.

Вышли и встали пассажиры желтого автобуса. Закуривал и не мог закурить шофер. Четвериков отошел в сторону. С разных сторон к месту аварии неслись два полицейские автомобиля.

«Ну, блин!» – подумал кассир. Глубоко, сплющился нос, вдохнул, приносясь к воздуху. Пахло весной.

Вечный цейтнот

1

Это было незадолго до Большого Взрыва. Пришел с работы мой сын, двадцатилетний балбес – еще более бессмысленный балбес, чем я в его годы. Я в его годы все-таки был уже женат, сам зарабатывал себе на жизнь, имел комнату в общежитии и какую-никакую, но цель в жизни.

Сын не имел никаких целей, сутками сидел за компьютером, то есть с девчонками замечен не был, а на работу мне удалось его выгнать только пару месяцев назад, и то лишь потому, что в доме кончилось продовольствие. На службе сыну полагался продуктовый суточный пакет.

Сын пришел чем-то расстроенный, я заметил это и спросил, в чем дело. Нехотя сын рассказал. В их департаменте учили надевать противогазы. А расстроило сына то, что лектор рассказал о нацеленных на наш город американских ракетах.

– Ну, правильно, – сказал я сыну. – Только не на город, а на Крюково. Но это один хрен. Там стоят наши ракетчики. Видел по дороге к даче указатель – Крюково? Семь километров в лес. Если пальнут, то мало не покажется.

– Э-э! – сказал я сыну, увидев, что он расстроился еще больше. – Никто по нам не пальнет, не бойся. Наоборот, гордиться надо, что это у нас стоят, а не где-то. Ядерный щит Родины, сынок!

Это я так сказал, для профилактики. Но какая, в самом деле, была разница, где кто стоит! Шарик настолько мал, что не имело ровным счетом никакого значения, семь километров до части РВСН, или семьсот.

– Не скажи, – сказал Марк. Мы сидели за бутылкой выгнанного им напитка. Кандидат биологических наук Марк Гдальевич гнал самогон из облепихи и даже, кажется, умудрялся обходиться без сахара. Маркус был голова, а облепихи росло море у него в саду. Мы были с Марком соседи не только по лестничной площадке, но и садоводства наши были рядом.

Это по протекции соседки, жены кандидата, нам удалось устроить своего балбеса на работу. После знаменитой Второй, или Осенней волны кризиса только в виртуальном пространстве еще что-то происходило, что-то еще надо было обрабатывать и передавать данные наверх. Работали, разумеется, только государственные учреждения, но именно в таком служила жена кандидата. Нам крупно повезло с соседями.

– Все имеет значение, – сказал Марк. – Даже небольшая горка. Одно дело, если шархнет, а ты стоишь в степи, другое – если успел лечь за горку.

– Брось ты! – сказал я. – Какие горки! Один пепел на сотни километров.

– Смотря какая бомба. Но в принципе в пяти км от эпицентра уже можешь выжить. Если спрячешься за горку. А еще лучше – в норку...

– И не пепел, а, скорее, расплавленное стекло, – добавил Марк. После того как мы выпили облепиховой и закусили капустой. Морской: это уже из моих запасов. – Там еще большое значение имеет сила ветра. При взрыве мегатонной бомбы в трех километрах от эпицентра сила ветра будет пятьсот километров в час, а в шести километрах – вдвое меньше.

Уже тогда мне показались странными вот эти глубокие познания Марка. Мы с ним оба были неглупые люди, но я таких подробностей не знал. Ну и что, что он кандидат? Он же – биологических наук, а бомбы и ветер были не его специальностью.

Хотя люди уже очумевали от безделья и были напичканы разным информационным мусором. Что касается меня, то я старался даже телевизор смотреть редко. Мое душевное состояние того времени можно описать так. Если раньше, в молодые годы, я смотрел в окно, как вот сейчас с Марком, видел там голубое небо с облаками и понимал, что эта Земля и это небо вечны, а я, увы, конечен, то теперь мои ощущения странным образом переменялись. То есть теперь я чувствовал, что этот мир, наоборот, конечен, и что конец не удален от нас на миллионы или даже миллиарды лет, а где-то рядом. Совсем близко. Сам я при этом, как ни странно, вечен.

Сын ушел к компьютеру, а мы с Марком продолжили разговор. Наши участки были рядом, и я часто подвозил Марка к воротам его садоводства, но мы были совсем разные дачники. Половину своего участка я закатал в асфальт, а другую половину засеял газоном. Это и была цель моей жизни – загородный дом. Вернее, так: сначала семья, потом автомобиль, потом квартира в городе. И, наконец, хороший загородный дом.

Можно сказать, что к сорока годам мои мечты исполнились. Теперь мне было пятьдесят. Кандидат звал меня Петровичем. Я звал его Марцелла, Маркус. Марк был всего на двенадцать

лет моложе, но все равно как бы уже другое поколение. И я уже лет двадцать понимал, что жизнь фактически профукана.

В кухню снова заглянул – или лучше сказать ворвался – сын. Обычно он всегда спокоен, флегма. Одно время это страшно возмущало меня. Вероятно, он был в мать. Я, как вы уже, наверное, поняли, хотел видеть другого сына: кого-то вроде идеального меня, каким я собирался быть. Теперь я понимал, что глупо ждать от сына того, чего не сумел или не захотел я сам. Они такие же, как мы.

– Папа! – сказал он, и я испугался. Он давно называл меня «отец», и, повторяю, он был флегма. Должно было произойти что-то необычайное, чтобы он обрадовался или огорчился. Меня и так уже удивил его вид, с которым он пришел домой из департамента.

– В Туле восстание, – сказал ребенок. Голос у него сорвался.

– Тьфу ты, – сказал я. – Напугал. Я уж подумал, в самом деле что-нибудь случилось...

Однако я заметил, как побледнел и потянулся за моими сигаретами Марк. Обычно Марцелла не курил.

– Там все серьезно, – сказал сын. – Убиты сорок тысяч человек. Город бомбят, с земли сбивают самолеты.

– Началось! – сказал Марк и странно ухмыльнулся. Как будто он обрадовался, что в Туле убиты сорок тысяч человек и там идет война.

– Включай ящик, – приказал я сыну, все еще не веря, что в стране может случиться что-нибудь особенное.

В кухне был маленький телевизор. Мы его нервно включили, тарашась в еще пустой экран, как будто что-нибудь зависело от этого ящичка в сером пластмассовом корпусе. Наконец, замелькало. В новостной программе НТВ показывали транспортное происшествие на Кольцевой. На остальных каналах тоже ничего про Тулу не было.

В этот же вечер перестал работать Интернет. События развивались стремительно. Так быстро, что трудно было что-нибудь понять. У нас волнения начались на другой день. Люди вышли на улицы. Толпу на площади у памятника Ленину заводили молодые леваки и коммунисты. Вернее, коммунистки: несколько известных всему городу пожилых теток, прославившихся своим бесстрашием и бестолковостью. Они бы долго кричали о тарифах, грозя небу сухонькими кулачками, если бы не группа молодых людей, человек в сто, молчком направившихся с арматуринами прямо к зданию Правительства.

Я был в толпе, хотя разумней было оставаться дома. Грозная сила вытащила меня, как за шкуру, в эпицентр событий. Милиция разбежалась сразу, побросав щиты и палки, только появились те решительные молодые люди. Начался погром. Запомнилось, с каким ожесточением и радостью громили Дом правительства его работницы – такие же, как бабы с улицы, простые тетки. До убийств дело не дошло. У нас вообще народ спокойный, не Тула. Ночью горели магазины, мэрия, особняки и почему-то Дворец спорта.

Боевые действия велись в Москве и в миллионниках. Там власть оказалась подготовленной к событиям. Но тоже все закончилось печально для нее и быстро.

Вечером выступил по телевидению с обращением к народу Чрезвычайный Президент. Поздравил народ с победой над силами зла. Сказал, что члены сбежавшего продажного правительства и олигархи арестованы в странах прибытия немедленно по выходу из самолетов. Это понравилось нам с кандидатом. Мы за это выпили облепиховой.

Теперь работы не было ни у кого. Мы ели совершенно уже невозможные продукты, какую-то травку, корни, собранные в парке. Выменивали сухари на рынке за обручальные кольца. Надо было ехать на дачу за зеленью – если ее не съели окрестные жители или ракет-

чки. Но ехать было не на чем, бензина не было. А общественный транспорт после победы над силами зла уже не ходил. Он не ходил и раньше, но как-то еще можно было добраться до Крюково. Теперь он не ходил совсем.

Зато появились деньги. Невероятно: деньги сбрасывали с вертолетов! Над городом кружили военные вертолеты и разбрасывали пачки денег. Это были настоящие российские рубли, от которых мы отвыкли и теперь рассматривали их, улыбаясь, как дети. Только они ничего не стоили. На них ничего нельзя было купить. У жены кандидата накануне вброса денег с вертолетов оставалась сотня (триста граммов муки или стакан сахара), на самый черный день. И вот он наступил!

В мире происходили странные события. Из транзистора Марцеллы мы узнали, что на Курилах высадился полк японской самообороны. Что наши кавказские республики уже не наши. Мы даже не поняли, чьи они. Снова заволновались Тула и Рязань. Там опять шли бои.

Мы видели, как с каждым выступлением по телевизору меняется в лице наш Чрезвычайный Президент. Однажды он сказал, что бывший президент России и члены ее продажного правительства выпущены правительством Соединенных Штатов на свободу.

– Братья и сестры! – сказал Чрезвычайный, опуская глаза, уводя их в сторону от камеры. – Нас, кажется, предали...

Можно подумать, что с начала беспорядков прошло много времени. Да нет! Вечером третьего дня после Победы над силами зла к нам постучался Марк.

– Петрович! Я нашел бензин!

В руке у Марка была двадцатилитровая канистра.

– Хватит?

До Крюково по федеральной трассе – сорок верст. Хватило бы и десяти.

Утром мы ехали по трассе, выбравшись из города без приключений. Попалось несколько остовов сгоревших машин. Пост ГАИ за мостом был разорен. Слева от трассы на высокой насыпи стояла электричка с выбитыми стеклами. Ветер мотал в окнах вагонов занавески.

Было свежо, ночью над городом прошла гроза. Я включил радио. В Москве объявлено о высылке посла Японии. Нота протеста вручена послам Китая и Соединенных Штатов.

– Мать-перемать! – прокомментировал Марк с заднего сиденья. Рядом со мной сидела жена Марка Ольга. Я смотрел прямо и старался не косить глаза на круглые колени жены Марка.

Охраны в будке у ворот моего садоводства не было. Было заметно, что Мамай по хижинам уже прошел. Несколько домиков сгорели.

Людей не было видно. Я как раз ожидал, что людей будет много. Но людей не было. В ограде моего участка стало ясно, почему. Грядки были разорены. Дверь в дом болталась на одной петле. Ольга заплакала. Хорошо, что не взял жену, подумал я.

– Поехали ко мне, – сказал Марк. Он был странно возбужден.

– А смысл? – сказал я. Все было понятно.

– Есть смысл. Поехали!

Я знал, что в садоводстве Марка нет охраны. Уже несколько лет у них дежурили дружинники. Это были, как правило, военные пенсионеры. Тот, кто не мог дежурить, платил. Марк предпочитал платить.

С горки был виден триколор, мотающийся на ветру на крыше в глубине домов.

– Ага! – довольно сказал Марк. – Значит, Серёга Панченко.

Из домика никто не выходил. Я посигналил. В окне шевельнулась занавеска. Марк вылез из машины и, дурачась, поднял руки вверх:

– Сдаюсь, майор!

На крыльцо вышел мужик с автоматом. Пригляделся.

– А! Здорово, академик!

Панченко выглядел испуганным. Они поговорили с Марком. Да, шалят. Война! Недавно пришлось вступить в перестрелку с местными абреками.

– Не знаю, как там у тебя. Давно не патрулируем.

Марк жил на 22-й линии, недалеко от Панченко. Мы обогнали двух бомжей, бредущих по обочине. В нескольких огородах мы заметили людей с мешками, они поворачивались спинами. Видимо, было еще что украсть.

Дверь в доме Маркуса висела на обеих петлях, но была открыта. Марк рассмеялся:

– Это ерунда! Вперед!

Мы прошли в дом. В жилище поработали разбойники. Если здесь было что-то ценное, оно было унесено. Но что могло быть ценного в жилище дачника? Особенно после Второй волны. Забрали, как сказала Ольга, часы и одежду, одеяла, чайник. Исчез маленький самогонный аппарат Марка.

Марк ловко поддевал выдергой доски пола. Под досками образовался люк. После того, как Марк проделал с ним какие-то манипуляции, люк отошел, бесшумно, в сторону.

– Прощу! – сказал довольный Марк.

Я заглянул в люк. Вниз вели блестящие железные ступени – по такой лесенке пловцы спускаются в бассейн или выходят из воды.

Марк закрыл дверь, и мы полезли в люк: Марк, я и за мной Ольга. Щелкнул выключатель. Мы находились в довольно большой квадратной комнате. В центре была чугунная подпорка. По краям бункера стояли агрегаты пока непонятного мне назначения, двухъярусные нары, полки. Мне вспомнился старый, еще не цветной художественный фильм «Армия Трясогужки», где оборванцы, беспризорники, попали на склад с удовольствием.

Полки в бункере Маркуса ломались от продуктов: тушенка и сгущенка, рыбные консервы. Макароны, крупы. В темноту уходили бутылки с водой.

– Как тебе удалось это сохранить? – спросил я. Трудно было не поддаваться искушению, не начать поедать еду немедленно.

– Это НЗ, – сказал Марк. – НЗ не едят. Только когда придет Пушной зверек.

Марк посчитал нужным провести экскурсию.

– Электроручной вентилятор, – показал он на круг с громадным рычагом. – Кончилось электричество – пожалуйста к ручке... Вентиляционные камеры, это из ГО-шных убежищ.

– Украл?

– Зачем? Они с девяностых стоят разоренные. Вынесли за бутылку облепиховой... Обрати внимание: велогенератор с автомобильными аккумуляторами. С утра покрутил, для профилактики – запас электричества на сутки.

– На случай ядерной войны?

– А что тут смешного? – Марк посмотрел на Ольгу, положил ей руку на плечо. Ольга кивнула. – Абсолютно автономное убежище, рассчитанное на два года. Год, во всяком случае, продержимся.

Марк подключил системы жизнеобеспечения. Пускай, пока мы тут, продует, сказал Марк. Приглядевшись к обстановке, я заметил, что бункер Марцеллы стилизован под советское учреждение. Висела политическая карта мира с красной территорией СССР на правом полушарии. На тумбочке стояла радиолка рижского завода – кажется, такие назывались «Ригонда». Холодильной камерой был холодильник «Зил»... Я поискал глазами. И нашел: на стене над зеленым сукном двухтумбового стола висел портрет Ильича Первого.

– Собери суточный пакет, – сказал Марк Ольге. – Два пакета.

Мы с Марком вышли на крыльцо. Тучи окончательно рассеялись, выглянуло солнце. Сразу за 22-й линией начинался реликтовый бор. Сказочное место.

– Ты это всерьез? Насчет войны? – спросил я Марка.

– Если ружье висит на стене, оно обязательно выстрелит, – помолчав, сказал Марк. – Оно висит уже семьдесят лет. Висит хреново, на одном гвозде. А сейчас и вовсе закачалось. Ты разве не видишь?

Я видел. Но я знал и другое.

– Это самоубийство, Марк, – сказал я. – Кому это надо? Сколько ты вложил в эту берлогу?

– Четыре года строил – сказал Марк. – Когда стало ясно, что Пушной зверек придет.

– Лучше бы ты тушенки побольше купил, – сказал я.

И в это время в воздухе раздался звук. Как будто гроза вернулась и, низкий, прошелся вдалеке, после разряда молний, гром. Обложив горизонт и распугав ворон. Из пустого голубого неба выскочил, как всегда неожиданно они выскакивают, самолет.

– Какой-то странный самолет, – сказал я.

Самолет, похожий на болванку, с короткими крыльями, стремительно удалялся в сторону Крюково. Затем появился второй самолет, третий... И скоро за бором ахнул взрыв. Красное облако огня вздыбилось на полнеба. Сотряслась земля.

– Это крылатые ракеты, – сказал Марк. – В укрытие!

В дверях стояла Ольга с суточными пакетами и с деревянным Петухом в руках. За ней зияла дыра люка.

– В укрытие! – скомандовал Марк. – Оба!

– Это что, ядерные? – сказал я.

– Были бы ядерные, нас бы уже не было, – сказал Марк. – Ну, бегом!

Мы с Ольгой проскользнули внутрь. Марк задвигал за нами люк.

– Я на минуту, до Сереги, – сказал Марк, когда я повернулся и успел увидеть в щели голову и руки Маркуса. Крышка захлопнулась. И в то же время лопнула Земля. Так показалось. Кубарем, я полетел вниз с лестницы. Через меня прошло громадное тепло. Пронзило и ушло куда-то дальше, в пол. А затем Земля раскололась еще раз. Все погрузилось в жар и мрак.

Иногда я думаю, зачем Марк показал мне бункер. Он ни слова не говорил мне об убежище под дачным домиком до того дня, когда пришел, как говорил Марк, Пушной зверек. То есть Писец. ПП – Полный Писец. Мы, правда, сильно сблизились с Марком после Второй Волны. И, с другой стороны, как бы еще Марцелла с Ольгой добрались до садоводства?

Понемногу я разобрался в хозяйстве Марка. Кое-что знала Ольга, кое до чего допер я сам. Например, я догадался, что за штука висит в углу бункера, сразу за вентиляционной камерой. Покопавшись, я включил табло. Это был уличный дозиметр.

У нас с Ольгой хватило ума не пытаться сразу выбраться наверх. Да мы бы и не сумели этого сделать. Марк обустроил лаз так, чтобы чайник не мог сдуру повернуть запоры люка и пустить внутрь смерть. Как будто он рассчитывал нарочно на меня.

Он только немного не рассчитал с часом П. Думал, у него еще есть время, рано еще уходить в убежище с концом, на год или на два.

Что, все-таки, случилось в тот злосчастный день? Из тех обрывков, что были услышаны нами по радио, мы поняли примерно следующее. НАТО атаковала наши ядерные силы, в том числе Крюковскую часть РВСН, крылатыми ракетами. Ядерный арсенал России уничтожили. Только не весь. Секретный, в космосе у нас висел козырный туз. Над территорией Соединенных Штатов рванул спутник с водородной бомбой. Полностью закрыв Америку.

Мы не знали, что случилось с остальными. Последней выходила на связь с миром франкоязычная радиостанция из Конго. Переводить было не обязательно: Полный Писец и в Африке Полный Писец.

Только первые дни я казнил себя, что не взял в последнюю поездку сына и жену. Кто знал, что все так сложится? Сын, кстати, все равно бы не поехал. Он никогда не ездил с нами в садоводство, потому что в загородном доме не работал Интернет. И сам я давно не любил свой загородный дом.

Когда я думаю о сыне, я печалюсь о другом. Я почему-то вспоминаю, как сердился на него за то, что сын не любит лыжных выходных. Случалось, что в субботу или в воскресенье мы с женой, как все добропорядочные люди, начинали собираться в лес. Типа мороз и солнце! Но сын упирался. Ни в какую! И мы, в общем, сердились, но вздыхали с облегчением. Ни я, ни она не любили лыж. Мы оставались дома, убивая время, кто как мог. Черт его знает, почему я это вспоминаю.

Я вообще не помню время с тридцати до сорока пяти. Хотя я продолжал выполнять личный план. Последние пять лет я помню хорошо, и то лишь потому, что после сорока пяти я твердо знал, что все это не то. И это понимание конца, которое накатывало, стоило мне посмотреть в окно.

В бункере окон нет. Разбираясь в хозяйстве Марка, я понял, что Марцелла собирался вытянуть наружу трубу перископа, но не довел эту работу до конца. Теперь это было невозможно. Да и что бы мы увидели снаружи!

Я, большую часть времени, кручу педали велогенератора, или копаюсь с запчастями к агрегатам. Или пишу свои заметки за столом, затянутым в зеленое сукно. Ольга читает, вырезает деревянные скульптурки или шьет. Мы редко говорим. Или, бывает, говорим взахлеб.

Вероятно, вот в таких же, или покомфортней, бункерах сидят еще где-то по миру группы уцелевших идиотов. А, может быть, мы с Ольгой остались вдвоем на планете. Возможно, мы должны стать новыми Адамом и Евой человечества. Если не сдохнем в вырытой своими же руками годовой могиле. Вернее, руками моего соседа Марка. Который знал, что Пушной зверь придет.

2

Да, это было в год Большого Взрыва, когда из морей и океанов вдруг выросли стрелы молний, скоро опоясавших земной шар причудливой сеткой – как ударами плетью. Оказалось, что подводный мир кишел железными акулами, и вот наступил момент, когда они, почти одновременно, выплюнули ядерными жалами на сушу смерть.

Плети ударили и с суши. Долгожданный Конец Света наступил. Это почувствовал в эти минуты каждый на Земле. Люди вдруг поняли, что шутки кончились.

– О Господи! – кричали они, поднимая к небу руки. – О Великодушный!

Жаль, что они не видели в этот момент себя со стороны. Они то срастались в бурные большие пятна, то, как заряженные одинаково частицы, отлетали друг от друга. Будто бильярдные шары. Странно, но люди никогда не думают, что объективно ходят по Земле вниз головой.

– Спаси и сохрани! – молили они в своих разметаемых ядерным ветром, как картонные коробки, городах. Тьма заволакивала Землю – на короткое мгновение появились звезды и погасли. Для внешней стороны, если смотреть от звезд, погасла, превратилась в черную дыру, Земля.

Там еще теплилась какая-то, – в подводных лодках, в бункерах, на дальних островах, в пещерах, – жизнь. Еще шла самая короткая в истории мира война. Глохли и стушевывались генералы, и садились молча, понимая, что никто не слышит их команды.

Сотни пилотов, успевших поднять машины в небо, в эти мгновения, ослепшие, сошли с ума. Их корабли вспарывали стратосферу, пролетали по ночи ракетой и валились обратно на Землю. Законы физики еще работали.

– О Господи, – шептали те, кто уцелел. – О Всемогущий!

Не к кому больше было обратиться. У всесильных королей и президентов, и у серых кардиналов, вдруг не оказалось слуг. Народы увидели, что их вожди бессильны. Теперь надежды не было ни у кого. Никому в голову не приходило винить в Конце Света власть, как обычно ее обвиняли во всем, что не нравилось народу.

Люди вставали на колени и молились Богу.

А потом обрушивали на Бога проклятья – видя, как сползает мясо с костей их еще живых детей:

– Как Ты мог, Бог? Видишь ли, что Ты наделал, Господи?! Да есть ли Ты, если позволил допустить такое?!

Да есть Я, есть. А что Я мог?

Люди любят представлять Меня Кем-то вроде гроссмейстера, переставляющего на доске фигуры.

Ну, хорошо, пусть шахматы...

В любой игре есть правила. Есть время на игру. Есть цель.

Жаль, говорю, люди не видят никогда себя со стороны. Хотя это не сложно. Как не сложно понять, что в любой игре есть, минимум, два игрока. Один делает ход – время пошло.

Вот, если вместо шахмат начать на доске играть в Чапаева, то что получится? Обычно, впрочем, со Мной начинают играть в дурака.

Или если у человека нет желания выигрывать или хотя бы свести партию вничью?

Я скажу больше: пусть второй игрок садится на Мое место, сыграет за Меня. Будто с самим собой. Это довольно часто происходит в шахматах.

Кто победит?

О, эти мольбы миллиардов! Ежедневно, еженощно. Но если человек хочет стать овощем, это не значит, что Я стану помогать ему в этом. Овощей у Меня и так полно.

Хозяин ли Я вам, Бог-Вседержитель? Разумеется. Не более, впрочем, чем вы хозяева своему мозгу и воображению. Или бородавке. Или печени.

Часто довольно, гм, увеличенной печени...

Последним серьезным игроком был один европеец, смолоду занимавшийся наукой, но большую часть жизни посвятивший сверке чисел из Священных книг. Вот с ним Мне было интересно. Партия осталась незаконченной.

С тех пор игроки сильно измельчали и перевелись, изжули-лись. То есть однажды их не стало вовсе.

Люди привыкли говорить, что чувство юмора – это единственное, что их отличает от природы. Обыкновенная гордыня. Если приглядеться, то заметно, как улыбается на солнце тыква. Особенно после дождя. Лежит и лыбится.

Но – пусть. Только перемудрили что-то люди с чувством юмора. Прохохотали, проплясали Землю.

Наступил цейтнот.

Дождь из мертвых птиц обрушился на Италию, и покраснело море в Израиле, и там, где был север, стал юг. Вам бы не тратить время, выясняя, есть Я или нет, а попытаться найти ответ на вопрос, откуда взялся Бог.

Обычно Меня представляют как нечто Великое, космических масштабов и поэтому далекое. Можно и так. Но чтобы понять Бога, надо идти в другую сторону. Я бесконечно мал.

Видели вы снегирей в морозный день? В зимний морозный день, клюющих просо из кормушки? А водопады? А рассветы и закаты на реке?

А просто зимняя дорога? Или летняя дорога. Даже не въяве, а показанная вдруг по телевизору – мелькнувшие в экране елки, сосны, колея... Что-то действительно, настоящее. А если кто-то просто хорошо споет? Разве не вздрогнет душа, не захочет человек немедленно

встать, и пойти и сделать что-то важное и вечное? – то есть в любви и в радости, по своим силам и сверх сил.

Есть ли еще вопросы, зачем это все было затеяно?

3

Я спал один на громадной кровати. Постель не была расстелена. Значит, вчера я уснул, не дождавшись начала футбола Россия – Андорра, и жена выключила телевизор и ушла спать на диван в гостиную.

Одному лучше думалось. Вселенная, подумал я, – аналог человеческого мозга. Или наоборот.

Когда-то, в юности, я представлял нашу Землю с ее пространствами, с заводами и пароходами, полицией, политиками, атомными бомбами всего лишь косточкой в коленной чашечке какого-то Гиганта, огибающего... Что? Вопросы бесконечности в то время занимали меня более всего.

Казалось, что от нахождения ответов на эти вопросы зависит и все остальное. Смысл жизни.

И лишь сегодня, необычно рано, затемно проснувшись, я вдруг ясно-ясно понял, что – не косточка. Не в чашечке.

Я закрывал глаза и видел точки в темноте. Эти мерцающие точки были звезды на небесном своде. Если внимательно к себе прислушаться, то было слышно, вплоть до легкого шуршания, едва заметного, как эти звезды разбегаются, и это есть процесс мышления, рождения мысли. И очень внятно понималось, что он бесконечен. Их же мириады, нервных клеток, как пишут в учебниках.

Вот тут, на этом уровне догадки, я остановился. Но те, кто знают больше, могут пойти дальше. Возможно, строение Вселенной станет нам яснее, если обратить внимание на мозг. На то, например, что он состоит из пары полушарий.

То есть я понял, что Земля – не косточка в коленной чашечке Колосса, а именно нейрон, клеточка Его мозга. Которая живет, поскольку еще не успела умереть. Они же отмирают миллиардами, пишут в тех же учебниках. Но ведь и время у Гиганта, разумеется, свое. То, что для Него секунда, для нас – вечность.

Это никак не отвечало на вопросы, не вносило ясности в смысл жизни, но создавало некую иллюзию причастности к ходу Истории, иллюзию соавторства с Колоссом. Богом.

Если сам Он – не косточка в чьей-нибудь коленной чашечке...

Я усмехнулся. И пошел, сварил себе чашечку кофе. Стаканчик. Нервные клетки восстанавливаются, господа. Это неправда, что они не восстанавливаются. Обязательно!



Виктор Мудролюбов

г. Санкт-Петербург



Автор поэтической книги «Ненужные стихи» («Скифия», 2016). Родился в Ленинграде. Окончил Ленинградский политехнический институт по специальности «Экспериментальная ядерная физика». Работает в НИИ электрофизической аппаратуры им. Д. В. Ефремова.

Из интервью с автором:

Здесь представлены мои стихи из цикла «Третий тайм» и эссе о поэзии.

Зачем?

Мы живем в несоседних мирах,
никогда не касаясь друг друга,
нам достались косые дороги
и ночлеги в сквозных номерах.

Мы однажды явились на свет

по какой-то неведомой блажи,
быть отдельными, видимо, ближе
к назначенью, которого нет.



Тот самый...

Я не родился каскадером
и не рубился на войне,
моя баронская корона
исподтишка мешала мне.

Я эту дрянь в сундук закинул,
за что хвалю себя вдвойне,
иначе б конь в трясине сгинул,
притом со мною на спине.

Теперь все дело только в шляпах,
они мелькают, как во сне,
одну забыл в медвежьих лапах,
с другой расстался на луне.

Зато я уток бью попарно
через каминный ход в стене
вчера – обжаренных шикарно,
сегодня – тушенных в вине.

Давно живу на этом свете,
шутить умею, но не лгу,

и где-то бродит мой свидетель
с вишневым деревцем на лбу.

Крылья

Падший ангел, обломаны крылья,
за очками нездешний покой,
не нашлось бы трамплина на крыше,
возвратился живой и пешком
в то жилье, ту бездонную пропасть,
коммунальный роман про двоих,
где сегодня отпраздную пропуск
на свободу из мира войны.
И неважно, какие сожитель
обустроит поминки с листа,
только крылья получше сложите,
хорошо бы на море слетать.

Попутчик

Всегда найдется третий, свободный от забот,
он вовсе не стареет, поскольку не живет.

Вокруг бушует время, разгромлен бывший рай,
с утра в своей тарелке, улыбчив, как вчера.

Вулканы где-то зреют, кончается вода,
кончаются деревья, приходят холода.

Но что бы ни нагрезил очередной пророк,
попутчик наш не crazy, он просто умер впрок.

Эвридика

На поверхности пусто, из живности ряска да мошки,
в глубине затаилась чужая зеленая жуть,
я держусь наверху в интерьере из красок домашних,
я еще не готов за тобой в этот омут нырнуть.

Там нездешний покой маскирует себя под болото,
засывая заблудшие души усталых людей,
там non stop для входящих без виз, паспортов и билетов,
но вернуться уже невозможно, а я не Орфей.

И в намеченный час достаю черно-белое фото,
от которого каждая клетка сочится тоской.
Не кончается ночь, не кончается кровь на салфетках,
не кончается зябкая дрожь за последней строкой.

Чердак

Любой из нас – чужак,
эльф, человек и гном,
имеет свой чердак,
забитый барахлом.
На чердаке живут
обрывки фраз и слов,
забытых в суете
бесчисленных минут,
и я, старьевщик снов,
археопат идей,
листаю ассорти
случайного меню,
пытаюсь раздобыть
какой-нибудь прием —
менять поток судьбы
хотя бы на микрон.
Судьба за тем углом,
а перископ разбит.

Виртуальная реальность

Виртуальная жизнь отбирает у жизни детей
для трехмерной игры вместо пешек, слонов и ладей.
Там любому из них предоставлен отдельный разъем,
Кто-то пешкой умрет, кто-то станет однажды ферзем.
Никакой миттельшпиль не спасет от дебютных грехов,
унесет без руля и ветрил по теченью планшет дураков,
и никто не ответит
за плоды виртуальных затей.
Виртуальная жизнь отбирает у жизни детей.

Дурная хозяйка

Наша память – заброшенный склад барахла,
что дурная хозяйка всю жизнь берегла,
добывала в расчете на завтрашний дождь,
расставляла с оглядкой на сладкую ложь —
если ближе положишь, быстрее найдешь,
и в уме виртуальный вела каталог.

Но с порядком хозяйка в ладу не была,
каталог затерялся в корзине белья,
а ключи от корзины среди барахла,
что дурная хозяйка всю жизнь берегла.

Муравейник

Опушка леса, старый муравейник,
так совершенны форма и размер,
что кажется, дизайнер для деревьев
придумал гениальный интерьер.

А муравьи в безмысленном порядке
мелькают и несутся кто куда,
и наше умиление понятно,
поскольку адекватно их трудам.

Земля людей, обочина вселенной,
моря и горы, птицы и цветы,
но боги не приходят в умиление
от нашей муравьиной суеты.

Это пришло

И перекинуться парюю слов не успели,
воздух опять затвердел, и не видно ни зги.
Так и живем по отдельности в сумрачном геле,
где вместо стен вместе с нами живут сквозняки.

Это пришло, исчезают предметы и люди,
белые пятна забвенья нисходят на быт,
сбоку теснятся минуты вчерашних иллюзий,
«в очередь, сукины дети», – привратник нудит.

Это пройдет, как проходят часы и недели,
запахи жизни, желанья, надежды и боль.
И перекинуться парюю слов не успели,
каждый оставил вопрос и ответ за собой.

Цветок

У меня есть комнатный цветок
с карими глазами человека,
я его обслуживал как мог,
кажется, уже четыре века.

Я устал, а собственный двойник
изнутри бубнит свои советы —
нужно бы цветку добавить света
и моей никчемной болтовни.

Середина лета, свет – на убыль,

осень проступает между строк,
я молчу, уже немеют губы.
У меня есть комнатный цветок.

Шизоидное

Поэзия, я твой негражданин,
мигрирую по собственным законам,
и создаю по собственным законам
вселенную, в которой я один.

В твоём уже осеннем Петербурге
закончился бумажный листопад,
и мой двойник листает свой айпад,
бокалом фэйков запивая бургер.

А у меня в колонны и ряды
построены интриги и сюжеты,
и тени чувств от нежности до жести,
и добрый запах книг неистребим.

Так и живём, два полюса магнита,
случайным общим телом сведены,
я странник с вечным комплексом вины
и мой двойник – достойный потребитель.

Последний читатель

Сегодня родился последний читатель Земли,
на нём распашонка, расшитая азбукой Морзе,
он вовремя спит, и сосет, и сухой, и не мерзнет,
его Нострадамус отныне присмотрит за ним.
Развернута Красная книга, шевелится лист,
давно побледнели чернила на нужном катрене,
но все состоялось: причина, и место, и время,
и полное имя – Последний читатель Земли.

В стороне

Все ушли. Мигает робкий свет
на подземной площади Восстания.
Этой остановки больше нет,
лишь скамьи да надписи оставлены.
Я присел на пару мкс,
так легко и тихо в черном ящике,
где-то в переходе метка есть,
можно возвратиться в настоящее,
можно вскинуть на спину багаж,

снова стать нулем пустого множества,
но пока смакую эту блажь —
чистое святое одиночество.

Никого. Не видеть, не менять,
не терпеть, не слушать объявления
на скамье, по шучьему велению
медленно плывущей мимо нас.

Зазеркалье

Живем в Зазеркалье,
всё страньше и страньше.
Ну, где ж вы, кто раньше
сюда зазывали?
В бессрочном завале
последних и крайних
не вышло ни разу отметить с вами.
Вы где-то за кадром,
в бегах, за стеною,
должно быть, иное
у вас Зазеркалье.

Белое и черное

Нарисую белое на белом,
притворюсь, что выцвело с годами,
будто наши прошлые проблемы
без осадка растворила память.

Растворила контуры и подпись,
разложила образы на кванты,
до свиданья, Пух и Мэри Поппинс,
на ремейки времени не хватит.

Нарисую черное на черном,
зашифрую, что еще случится,
и неважно – утро или вторник
или черный снег на снег ложится.

Завтра праздник правильных и лживых,
выбор фильтра для оценки мира,
белого – из нашей послежизни,
черного – от пана Казимира.

Опрокинутый мир¹

Для жителей особенного мира,
глядящих на наружных свысока,
моментом истины становится река,
не для моста, не та, где ноги мыли,
а самый настоящий океан,
о коем навигаторы не знали,
когда наш мир за милей милю гнали,
не ведая, что вскроется обман.

Сейчас

Что спрятано за термином «сейчас»?
Последний вздох до общего исхода,
начало передачи про погоду,
случайный скрип елового сучка...

Я знаю, что «сейчас» прошло сейчас,
и завтра не для каждого настанет,
кто следствие с причиной переставит,
тому и карты в руки вместо нас.

А мы в своих эйнштейновских мечтах
придумываем струны и квазары,
и строим первобытные казармы,
и несогласных обращаем в прах.

Так и живем, как будто бы «сейчас»,
шуты, и технократы, и манкурты,
когда беда приходит в наши юрты,
виновен кто угодно вместо нас.

¹ Опрокинутый мир. Кристофер Прист.



Нужна ли нам поэзия!?

Настали времена, когда почти повсеместно происходит неизбежное вытеснение живого общения общением online. На смену правильной литературной речи приходят огрызки фраз и слов, когда уже не нужна грамматика, а вместо изящной шутки достаточен топорный прикол. Большинство уже не хочет читать ничего крупнее статейки в газете, лучше в электронном виде. Одним из последних прибежищ родного языка остается поэзия, которая может обеспечить непосредственное общение души с душой, передачу ощущений, чувств, умозаключений автора читателю или слушателю.

Как же этого достигнуть? Что такое стихи? В бытовом понимании стихотворение – это литературное произведение, состоящее из укороченных строк, имеющее некий ритм, причем окончания строк попарно или в большем количестве имеют сходное звучание, то есть, рифмы.

Здесь все неверно: во-первых, существуют белые стихи, не оснащенные рифмами и даже с нарушениями ритма (верлибр); во-вторых, существуют стихотворения в прозе, не связанные ритмом; наконец, многие произведения с ритмом и рифмами настоящими стихами не являются.

По-моему, стихотворение отличается от других литературных произведений повышенной плотностью информации, причем в его основе должно быть что-то нестандартное: цель, идея, чувство, ощущение, новое понимание известного события или явления. Создать настоящее стихотворение – совершить открытие, хотя бы небольшое.

Крайне важным является соблюдение формальных требований: правильность, ясность и точность текста. Нарушение правил грамматики и смысла допустимо в исключительных случаях для усиления эффекта воздействия («голова моя машет ушами, как крыльями птица, ей на шее ноги маячить больше невмочь...», Сергей Есенин). Уменьшают плотность лишние паразитные слова, всякие «вот», «уж» и пр. Ясность и точность не синонимы примитивности, потому что простота глубже сложности, под ней можно спрятать второе или третье дно.

Как создавать настоящие стихи, не знает никто. Есть поэты, пишущие легко, самые яркие примеры – Пушкин и Есенин. Есть мученики – Тютчев и Маяковский («изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды»).

Нужно писать стихи, если этого требует душа. Можно их показывать или зачитывать, но прежде следует попытаться оценить со стороны, например, со стороны своих любимых мастеров.

Нужны ли мы поэзии?

Наш язык прекрасен. Из 33-буквенного множества можно составить огромное количество разумных сочетаний. Приставки, суффиксы и почти произвольная расстановка членов предложения обеспечивают исключительное богатство красок, оттенков и тончайших нюансов. И как же мы, конкретные люди, используем это богатство? Что мы несем в сокровищницу родного языка?

Конечно, себя, свои мысли и чувства. Даже если в качестве лирического героя выбран кто-то посторонний, это всего лишь маска, под которой можно спрятаться только частично. И вот вопрос: а интересны ли наши мысли и чувства, нужны ли мы? Какими критериями определяется наша нужность? Можно ли самим определять это? Увы, получается плохо! Сейчас на сайте стихи.ру уже представлено 36 783 125 произведений. Читая по одному произведению в минуту, воображаемый читатель затратит шестьсот тысяч часов. А за это время...

Простейшая логика диктует необходимость капитального ограничения временных затрат. Можно, конечно, рассчитывать на разные показатели популярности, количество поклонников, наличие публикаций, но годы не щадят даже суперпопулярных. Начало прошлого века прошло под знаком трех Б – Бальмонта, Белого и Блока. Кто сегодня знает о Бальмонте и Белом? Только интернет...

Можно пытаться стать профессионалом, попасть в Союз писателей, но членство в Союзе на качество стихов не влияет. К тому же прием осуществляют обычные люди со своими вкусами, достоинствами, пороками и зависимостью от внешних сил. Нельзя забывать о том, что из Союза был однажды исключен Борис Пастернак, который был и будет нужен Поэзии в отличие от большинства официально признанных поэтов.

Что же делать? Если душа нуждается в самовыражении, нужно писать стихи, нужно писать хорошие стихи, чтобы душе не было стыдно за убогое содержание или слабую технику. Хорошие стихи нужно отдавать в хорошие руки. Добросовестный редактор отсеет мусор, общение с редактором поможет честнее оценивать уровень своего творчества.

Лично я получил большое удовольствие от работы с издательством «Скифия» при подготовке восьмого тома Антологии живой литературы. Книга «За границами снов» великолепно скомпонована и оформлена, официально зарегистрирована. Серия принимает к публикации стихи и рассказы русскоязычных авторов, в том числе зарубежных; предназначена не только для наших читателей, но и для русской диаспоры всего мира.

Стихи ли я пишу?

Это третья и, по замыслу, последняя попытка определить и высказать мою позицию по проблеме стихосложения.

И начать я хочу с цитаты из Эрнеста Резерфорда: «физика – наука, остальное – собирание бабочек». Э. Р. не собирался оскорблять или унижать другие виды человеческой деятельности, просто констатировал факт: везде, кроме физики, законы имеют национальные, расовые или религиозные особенности и ограничения, то есть не являются глобальными.

И что же делает физик, попадая на чужую поляну? Естественно, изучает писанные и неписанные законы поляны, а затем их использует в меру своих способностей.

Есть, конечно, законы и в поэзии. Их неосознанные творцы рождаются один-два раза за время жизни конкретного этноса или цивилизации. Гомер, Данте, Шекспир, в России – Пушкин. Живущие позже таланты и даже гении пользуются дарами гигантов.

Я пытаюсь понять эти законы более 50 лет. Увы, не имея способностей к языкам, западную и восточную поэзию изучал только в переводах, то есть уже русифицированную. Собственное сочинительство происходило с огромными перерывами. Первый – почти 20 лет, случился после знакомства со стихами Осипа Манделштама, мне показалось, что после него мне уже нечего сказать. Второй перерыв (15 лет) случился после 1998 года из-за отсутствия читателей и слушателей. Без ответной реакции нет смысла в творчестве.

И вот к каким выводам я пришел в результате своих поисков и сомнений, прошу извинить за повторение некоторых мыслей из предыдущих эссе:

Еще раз заявляю – стихи отличаются от прозы плотностью информации.

Информация должна быть в чем-то новой, неожиданной.

Форма стихотворения, ритмика, даже рифмы играют огромную роль. Они должны подчеркивать основную идею, создавать глубину и неоднозначность восприятия, усиливать плотность информации. Для этого необходимы неожиданные словосочетания, нестандартные рифмы, просто большие слова. Это очень тяжелый труд.

Одинокий ловец
на излучине сонной реки,
в тихий омут бросаю
с наживкой двойные крючки.
Там у самого края,
где хищно змеится трава,
голова к голове
притаились большие слова.
Там на илистом дне
умирает вчерашний плавник,
мечет в омут икринки
прожорливый русский язык,
я ловлю по старинке,
на мякиш привычно плюю,
как же выманить мне
золотую добычу мою?

И вот, прочитав несметное количество стихов (и прозы, конечно), сформулировав для себя законы стихосложения, я иногда спрашиваю себя: а стихи ли я пишу? А Вы?

Игорь Трофимов

г. Москва



В конце 2017 года в тюменском издательстве «Русская неделя» вышла книга «Сказки Игоря Трофимова».

Из интервью с автором:

Образование среднее, специальности нет. Книжка участвовала в голосовании за самую популярную книгу в региональном конкурсе «Книга года 2017» в номинации «Лучшая книга для детей и юношества».

Прятки

Волки залегли в папоротник, притаились... Быстро темнело, тянуло сыростью, близилась гроза... Медведь водил... Неистово.

Презираем

Медведь презирал... И себя, и себя в лесу, и себя в лесу презираемого презирал... И очень это все ему нравилось...

Окружение

И было у медведя три лисы: черная, рыжая и послушная... И выдающейся злобы хомячок!

Социальное пространство

К берлоге постоянно шли какие-то звери добавляться в друзья к медведю... Тот же, с некоторых пор, стал гораздо осмотрительнее: поначалу внимательно рассматривал, в глаза заглядывал, трогал шерстку...

Формирование повадок

Зайцы и предположить не могли, что им придется предполагать... Но понравилось.

Полнолуние

Неприменно желая продемонстрировать диким кроликам внешние признаки состояния ажитации у человека, медведь продолжительно и болезненно тяжело подышал в изголовье охотничьей палатки...

Уклад

А у волков и не было предубеждений... Так справлялись.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.